

В этом выпуске «Вольного слова» собраны речи обвиняемых на политических процессах в 1966-1974 годах. Эти документы свидетельствуют о нарушении законности во время суда и следствия. В дальнейшем мы намерены выпустить сборник документов, свидетельствующих о нарушении законности после вынесения приговора, когда осужденный отбывает срок заключения. Вместе с прошлым сборником документов о правонарушениях в период до судебного преследования инакомыслящих, а также со сборниками, целиком посвященными отдельным политическим процессам, это отобразит картину юридических беззаконий в СССР.

Редакция

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО

14. 2. 1966

Суд над писателем и литературоведом А. Д. Синявским и поэтом и переводчиком Ю. М. Даниэлем проходил в Москве, в Верховном суде РСФСР. По статье 70 УК РСФСР (антисоветская пропаганда) Синявский был приговорен к 7, а Даниэль — к 5 годам лагерей строгого режима.

О процессе Синявского — Даниэля см. «Посев» №№ 8-10/1966. — Р е д.

Мне будет довольно трудно говорить, так как я не рассчитывал, что сегодня будет «последнее слово». Мне сказали, что в понедельник, и я не подготовился. Но еще труднее — в силу определенной атмосферы, которая здесь достаточно ощутима. Доводы обвинения меня не убедили, и я остался на прежних позициях. Доводы обвинения — они создали и ощущение глухой стены, сквозь которую невозможно пробиться до чего-то, до какой-то истины. Аргументы прокурора — это аргументы обвинительного заключения, аргументы, которые я много раз слышал на следствии. Те же самые цитаты — не раз, не два, не три: «Очередь, очередь... от живота — веером». «Чтобы уничтожить тюрьмы, мы построили новые тюрьмы...» Все те же самые страшные цитаты из обвинительного заключения повторяются десятки раз и разрастаются в чудовищную атмосферу, уже не соответствующую никакой реальности. Художественный прием — повторение одних и тех же формулировок — сильный прием. Создается какая-то пелена, особая, наэлектризованная атмосфера, когда кончается реальность и начинается чудовищное, — почти по произведениям Аржака и Терца. Это — атмосфера темного антисоветского подполья, скры-

вающегося за светлым лицом кандидата наук Синявского и поэта-переводчика Даниэля, но лелеющего заговоры, перевороты, террористические акции, погромы, убийства, убийства, убийства... В общем — «День открытых убийств», только исполнителей двое: Даниэль и Синявский. Тут действительно очень странно и неожиданно художественный образ теряет условность, воспринимается обвинением буквально, настолько буквально, что судебная процедура подключается к тексту как естественное его продолжение. Я имел несчастье пометить эпилог повести «Суд идет» 1956-м годом, — автор оклеветал 1956-й год — ага, автор, ты предсказал... — иди теперь в лагерь в 1966-м году. Злорадные интонации явственно звучали у обвинителей. Но появились новые тона. А какие новые тона? Новые штрихи — это политическое подполье переходит в подполье вырожденков, людоедов, живущих самыми темными инстинктами: ненависть к матери, ненависть к собственному народу, фашизм, антисемитизм. Трудно объявить Даниэля антисемитом. Так вот, фашист Даниэль под руку с антисемитом Синявским топчут все самое святое, вплоть до матери. Поэтому рассеять эту атмосферу крайне трудно: здесь не помогут ни развернутые аргументы, ни концепции творчества. Уже на следствии я понял, что не это интересует обвинение, интересуют не концепции творчества, а отдельные цитаты, которые все повторяются и повторяются. Я не берусь ни объяснять замыслы, ни читать лекцию, ни биться головой о стенку, ни доказывать — это бесполезно. Я хочу только напомнить некоторые аргументы, элементарные по отношению к литературе. С этого начинают изучать литературу: слово — это не дело, а слово, художественный образ условен: автор не идентичен герою. Это — азы, и мы пытались говорить об этом. Но обвинение упорно отбрасывает это как выдумку, способ укрытия, способ обмана. И вот получается, что повесть «Говорит Москва», если ее внимательно прочесть, да что там прочесть —

хоть пробежать, только не пугаясь слов, — то повесть кричит одно слово: «не убий!» «Я не могу и не хочу убивать: человек во всех обстоятельствах должен оставаться человеком». Но никто этого не слышит. «А-а, ты хотел убить, ты — убийца, ты фашист!». Здесь происходит чудовищная подмена. Герой повести «Суд идет» Глобов, человек, может быть, неплохой, но в соответствии с некоторыми установками времени высказывает антисемитские настроения, произносит какие-то антисемитские слова: «Рабинович, увертливый, как все евреи...» Ясно, что повесть против антисемитизма, в ней речь идет про дело врачей, — но нет, это автор антисемит, а ну-ка, его к фашисту поближе.

Тут логика кончается. Автор уже оказывается садистом. Понятие «антисемитизм» обычно связывается с великодержавным шовинизмом. Но тут какой-то особенно изощренный автор: он и русский народ ненавидит, и евреев. Все ненавидит: и матерей, и человечество. Возникает вопрос: откуда такие чудовища, из какого болота, из какого подполья? По-видимому, обычно советский суд (я знаю об этом из книг) при решении вопроса интересуется происхождением преступления, его причиной. Сейчас обвинение это не интересует. Вот откуда-то, должно быть из Америки, с парашютом нас с Даниэлем сбросили, и мы начали все разить — такие негодяи! Меня тут с Грацианским сравнивали — так у него темное происхождение, потом он, кажется, шпион. Вполне понятный путь. Ну, а неужели у обвинения о нас не возникал вопрос — откуда? Откуда в нашей среде фашист? Ведь если разобратся, то это проблема куда более странная, чем две книжки, даже очень антисоветского содержания. Эти вопросы обвинением даже не поставлены. Так просто ходят благополучные, снаружи благополучные, люди, а внутри они фашисты, готовые поднять мятеж и бросить бомбу. Или эти слова были брошены нам в лицо просто ради оскорбления?

Я как будто на суде растолковал — с цитатами, что Карлинский — самый отрицательный персонаж, никаких сомнений не возникает в отношении к нему автора. Нет, снова прокурор читает кощунственные слова про рыбок, которых извлекают из материнского чрева, — эти страшные, циничные слова — и патетически восклицает: «Ну, разве здесь не сквозит антисоветчина? Разве это не отвратительно?» Да, отвратительно, да, сквозит. То же и слова: «Социализм — это свободное рабство». Но это герой — антисоветский, разоблаченный герой. И никакого сомнения тут нет. Но или меня не слушали, или это неважно было. Скорей — неважно было.

Государственного обвинителя я даже понимаю. У него более широкие задачи, он не обязан всякие там литературные особенности учитывать: автор, герой, то да се. Но когда с такими заявлениями выступают два члена Союза писателей, из которых один — профессиональный литератор, а другой — дипломированный критик, и они прямо рассматривают слова отрицательного персонажа как авторские мысли — тут уже теряешься. Ну, скажем, о классиках в «Графоманах»: нельзя же оттого, что повесть от первого лица, от лица графомана-неудачника, в котором, может быть, и есть некоторые автобиографические черты, считать, что автор ненавидит классиков. Это может быть непонятно человеку, который только читать научился. Тогда, конечно, Достоевский — это человек из подполья, Клим Самгин — это Горький, а Иудушка — Салтыков-Щедрин. Тогда все наоборот будет.

Общественный обвинитель попутно ставит вопрос о двойном дне. Общественный обвинитель *Васильев* даже не постеснялся упомянуть о пеленках, которые были подарены моему новорожденному сыну, кстати не мадам *З а м о й с к о й*, совсем другой француженкой. Даже белье пошло в ход, чтобы показать, как за светлым обликом скрывается мрачное нутро — мое и Даниэля. Приводились цитаты из моих статей:

как он тут писал о социалистическом реализме с марксистских позиций, а там — идеалист, ха-ха. Если бы я мог писать с идеалистических позиций здесь, я писал бы так здесь. Когда мне поручали какую-нибудь работу здесь, я часто отказывался, искал близких мне авторов. Кедринной это хорошо известно, она же работала со мной в одном институте. Ей известно, что я не лез в герои, не выступал на собраниях, не бил себя кулаком в грудь, не разговаривал лозунгами. А частенько меня прорабатывали за ошибки, уклоны, неточности. В характеристике из ИМЛИ, которая пришла в КГБ уже после моего ареста (даже следователь возмутился, когда пришла характеристика, где я задним числом из старших научных сотрудников в младшие переведен), в этой характеристике есть и правда: там говорится, что мои идейные позиции — нечеткие, что я писал о Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке, сбивался в эту сторону. Сбивался — потому, что хотел о них писать. Делал все максимальное, чтобы выражать свои подлинные мысли в качестве Синявского. Поэтому у меня бывали и неприятности, и выговоры, и меня ругали в печати и на собраниях. И никакими особыми благами, кроме зарплаты, я не обладал. Обвинитель говорил, что я «мелькал в Союзе писателей» — я что, там ссуды брал, или командировки, или бесплатные путевки на курорт получал? Обвинитель перечислил, что за десять лет мне подарили несколько вещей на дни рождения разные знакомые. Уж ежели бы я какую-нибудь бесплатную путевочку получил, как бы она здесь фигурировала!..

Неужели вновь объяснять такие простые вещи? Меня упрекают, что я матерей оскорбил. А у меня в «Любимове» прямо сказано: «Матерей не смейте трогать». Ведь Леню Тихомирова волшебная сила оставила за то, что покусился на душу матери. Что же, матерей я оскорбил? А что старух я так описываю, как сморщенные трухлявые грибы: сыроежки, сморчки, лисички — так неужели мне распростер-

тых на полу часовни старух в нимбах изображать? Это старый-старый литературный прием снижения. Государственное обвинение не обязано в это вникать — но писатели?!

Итоги: все маскировка, все уловки, прикрытие, как и кандидатская степень. Худосочная литературная форма — это только оболочка для контрреволюционных идей. Идеализм, гипербола, фантастика — все это, конечно, уловки, уловки ярого антисоветчика, который всячески замаскировался. Ну, ладно, здесь замаскировался. Ну — это понятно, но там, за границей, именно мог размаскироваться, уж там-то я мог себе позволить?..

Гипербола, фантастика... Тогда само искусство получается уловкой, прикрытием для антисоветских идей?

Ну, хорошо, но ведь есть же фразы, мысли, образы, которые прямо говорят об обратном. Их не видно, за этими махровыми цитатами не видно. Их можно повторять, но это бессмысленно. Ведь рядом с фразой, которая здесь повторялась десятки раз: «Для того, чтобы никогда не было тюрем, мы построили новые тюрьмы» — ведь рядом — я просил прочесть — сказано: «Коммунизм — это светлая даль». Но это уже читать не хотели. И тирада за революции — она тоже никого не интересовала, никого не интересовал анализ содержания, а интересовали только отдельные формулировки, антисоветские формулировки, штампы, которые можно приложить на лоб Даниэлю и Синявскому, как на повесть.

Гражданин государственный обвинитель сказал такую фразу (она меня поразила, и я ее даже записал): «Даже зарубежная пресса говорит, что это антисоветские произведения». По логике ежели вдуматься: это что — высший критерий объективности для прокурора — вот ежели даже она признала, так мы-то уж должны? Меня особенно поразило это «даже». Я бы это «даже» поставил в другом месте: если «даже» зарубежная пресса в определенной сво-

ей части пишет, что это не антисоветские произведения...

Вот ведь Карл Миллер пишет о погруженности автора в почти незыблемую верность коммунизму. Или еще: «Терц с вожделением вспоминает о революции, но относится не ортодоксально к дальнейшему». Ну, зачем же этим буржуям говорить, что Терц вожделеет к революции, зачем же, если мы фашисты?

Как доказательство вины обвинение приводит слова Филиппова, а другие — дураки там, наверное, — Милош, Фильд — они же побольше стоят, чем Филиппов, это ведь более солидные авторы.

В результате формулировка: «злоба, которой мог бы позавидовать белогвардеец», — и приводили штампы на книге (что-то вроде «боритесь с КПСС» и еще что-то, не помню). Штмп на книге оказывается равен самой книге. Такой штмп я хорошо представляю себе на произведениях Зощенко, Солженицына, на «Реквиеме» Ахматовой. Проводится знак равенства между агитационными штмпами и художественными произведениями.

Возникает вопрос: что такое агитация и пропаганда, а что — художественная литература? Позиция обвинения такая: художественная литература — форма агитации и пропаганды; агитация бывает только или советская или антисоветская, раз не советская, значит антисоветская. Я с этим не согласен; нехорошо, ежели писателя надо по таким нормам судить и рассматривать, то что делать с человеком, который печатает прокламации? Он ведь тоже укладывается в рамки 70-й статьи. Если художественное произведение надо судить по высшей мере этой статьи, то что делать с листовкой? Или нет никакой разницы? С точки зрения обвинения, разницы нет.

Литературовед Кедрина здесь говорила, что из бабочек на лугу политического содержания никто не вытащит. Но действительность не сводится к бабоч-

кам на лугу. А из Зоценко не вытаскивали анти-советское содержание? Да из кого только ни вытаскивали? Я понимаю разницу, они печатались здесь. Но вытаскивали из всех, особенно если сатира: Ильф и Петров, например, у них тоже была клевета. Даже у Демьяна Бедного — и то была усмотрена клевета; правда, в другое время. Я даже не знаю крупного сатирика, у которого бы не вытаскивали такие вещи. Но, правда, еще никогда не привлекали к уголовной ответственности за художественное творчество. В истории литературы я не знаю уголовных процессов такого рода — включая авторов, которые тоже печатали за границей, и причем резкую критику. Я не хочу себя ни с кем сравнивать, но, вероятно, советские граждане равны перед законом?

Мне приводили аргументы, на которых кончалась возможность объяснить что-то. Если я в статье пишу о любви к Маяковскому, мне отвечают: Маяковский писал: «у советских собственная гордость», а ты посылал за рубеж. Но почему же я, такой непоследовательный и немарксистский, не могу восхищаться Маяковским?

Тут начинает действовать закон «или-или»; иногда он действует правильно, иногда страшно. Кто не за нас, тот против нас. В какие-то периоды — революция, война, гражданская война — эта логика может быть и правильна, но она очень опасна применительно к спокойному времени, применительно к литературе. У меня спрашивают: где положительный герой? А-а, нет, а-а, не социалистический! а-а, не реалист, а-а, не марксист, а-а, фантаст, а-а, идеалист, да еще за границей! Конечно, контрреволюционер!

Вот у меня в неопубликованном рассказе «Пхенц» есть фраза, которую я считаю автобиографической: «Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться...» Так вот — я другой. Но я не отношу себя к врагам, я советский человек и мои произведения — не вражеские произведения. В здешней наэлектризованной, фантастической атмосфере врагом может

считаться всякий «другой» человек. Но это не объективный способ нахождения истины. А главное — я не знаю, зачем придумывать врагов, громоздить чудовища, реализуя художественные образы, понимая их буквально.

В глубине души я считаю, что к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками. Ведь природа художественного образа сложна, часто сам автор не может его объяснить. Я думаю, что ежели бы у самого Шекспира (я не сравниваю себя с Шекспиром, никому и в голову не придет) — если бы у Шекспира спросить: что означает Гамлет? Что означает Макбет? Не подкоп ли тут? — я думаю, что Шекспир не смог бы с точностью ответить на это. Вот вы, юристы, имеете дело с терминами, которые чем уже, тем точнее. В отличие от термина значение художественного образа тем точнее, чем он шире.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ

14. 2. 1966

Я знал, что мне будет предоставлено последнее слово. И я думал над тем, отказаться ли мне от него совсем (я имею на это право) или ограничиться несколькими обычными формулировками. Но потом я понял, что это не только мое последнее слово на этом судебном процессе, а может быть, вообще мое последнее слово в жизни, которое я могу сказать людям. А здесь люди — и в зале сидят люди, и за судейским столом тоже люди. И поэтому я решил говорить.

В последнем слове моего товарища Синявского прозвучало безнадежное сознание невозможности пробиться сквозь глухую стену непонимания и нежелания слушать. Я настроен не так пессимистически. Я надеюсь вспомнить еще раз доводы обвинения и доводы защиты и сопоставить их.

Я спрашивал себя все время, пока идет суд: зачем нам задают вопросы? Ответ очевидный и простой: чтобы услышать ответ, задать следующий вопрос; чтобы вести дело и в конце добраться до истины.

Этого не произошло.

Я не буду голословен, я еще раз вспомню, как это все было.

Я буду говорить о своих произведениях — надеюсь, меня простит мой друг Синявский, он говорил о себе и обо мне, — просто я свои вещи лучше помню.

Вот меня спрашивали: почему я написал повесть «Говорит Москва»? Я отвечал: потому, что я чувствовал реальную угрозу возрождения культа личности. Мне возражают: причем тут культ личности, если повесть написана в 1960-61 году? Я говорю: это именно те годы, когда ряд событий заставлял ду-

мать, что культ личности возобновляется. Меня не опровергают, не говорят, мол, вы врете, этого не было — нет, мои слова просто пропускают мимо ушей, как если бы этих слов не было. Мне говорят: вы оклеветали народ, страну, правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я отвечаю: так могло бы быть, если вспомнить преступления времен культа личности, — они гораздо страшнее того, что написано у меня и у Синявского. Всё, — больше меня не слушают, не отвечают мне, игнорируют мои слова. Вот такое игнорирование всего, что мы говорим, такая глухота ко всем нашим объяснениям — характерны для этого процесса.

По поводу другого моего произведения — то же самое: почему вы написали «Искупление»? Я объясняю: потому, что считаю, что все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, это ложная идея. Но мне говорят: «Это клевета на советский народ, на советскую интеллигенцию». Меня не опровергают, а просто не замечают моих слов. «Клевета» — это очень удобный ответ на любое слово обвиняемого, подсудимого.

Общественный обвинитель, писатель *Васильев* сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов. Я знаю эти мраморные доски, знаю эти имена павших; я знал некоторых из них, я был с ними знаком, я свято чту их память. Но почему обвинитель *Васильев*, цитируя слова из статьи Синявского — «...чтобы не пролилась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали...» — почему, цитируя эти слова, писатель *Васильев* не вспомнил другие имена — или они ему неизвестны? Имена *Бабеля*, *Мандельштама*, *Бруно Ясенского*, *Ивана Катаева*, *Кольцова*, *Третьякова*, *Квитко*, *Маркиша* и многих других. Может, писатель *Васильев* никогда не читал их произведения и не слышал этих фамилий? Но тогда, может быть,

литературовед Кедрина знает имена Левидова и Нусинова? Наконец, если обнаруживается такое потрясающее незнание литературы, так, может, Кедрина и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или, если они далеки вообще от искусства, может быть, они знают имена Постышева, Тухачевского, Блюхера, Косиора, Гамарника, Якира... Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях — так надо понимать утверждение, что «не убивали»? Так как же, все-таки, — убивали или не убивали? Было это или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убили, — это оскорбление, это, простите за резкость, плевок в память погибших.

Судья: Подсудимый Даниэль, я останавливаю вас. Ваше оскорбительное выражение не имеет отношения к делу.

Даниэль: Я прошу прощения у суда за резкость. Я очень волнуюсь, и мне трудно выбирать выражения, но я буду сдерживать себя.

Нам говорят: оцените свои произведения сами и признайте, что они порочные, что они клеветнические. Но мы не можем этого сказать, мы писали то, что соответствовало нашим представлениям о том, что происходило. Нам взамен не предлагают никаких других представлений: не говорят, были такие преступления или не были; не говорят, что нет, люди не ответственны друг за друга и за свое общество; просто молчат, не говорят ничего. Все наши объяснения, как и сами произведения, написанные нами, повисают в воздухе, не принимаются в расчет.

Общественный обвинитель Кедрина, выступая здесь, почти целиком, с некоторыми лирическими отступлениями и добавлениями, прочла свою статью «Наследники Смердякова», опубликованную в «Литературной газете» еще до начала процесса. Я позволю себе остановиться на этой статье, потому что она фигурирует на процессе как обвинительная речь, и еще по одной причине, о которой скажу позднее. Вот

Кедрина, начиная свой «литературный анализ» повести «Говорит Москва», пишет о герое этой повести: «А убивать хочется. Когда же?..» В том-то и дело, что моему герою не хочется убивать, это ясно видно из повести. И, между прочим, это не только мое собственное мнение, со мной согласен в этом гражданин председательствующий; во время допроса свидетеля Горбузенко он спросил: «Как вы, коммунист, относитесь к тому, что герою повести приказывают убивать, а он не хочет?» Я благодарен председательствующему за это точное определение позиции героя. Нет, я не считаю, что мнение председательствующего должно быть обязательным для литературоведа Кедриной, у нее может быть собственное мнение о произведении, но как оно обосновывается? Вот что пишет Кедрина: «положительный герой грезит о студебеккерах — одном, двух, восьми, сорока, которые пройдут по трупам» Я возвращаюсь к этому отрывку, он цитировался в статье и здесь, на суде. А между прочим, написано не так, как здесь приводится; ни разу не цитировали этот отрывок полностью: «Ну, а эти, заседающие и восседающие... — как с ними быть? А 37-й год, когда страна билась в припадке репрессий? А послевоенное безумие? Неужто простить?» (Я цитирую по памяти, не точно.) Эти две фразы тщательно опускаются. А почему? Потому что там мотивы ненависти, а об этом уже надо спорить, надо объяснять как-то; гораздо проще их не заметить. Дальше то, что здесь приводилось: «Нет. Ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота веером. Очередь. Очередь. Очередь...» Дальше в представлении героя все смешивается — «русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты...» — я привожу этот отрывок, где, действительно, кровавая каша и все прочее весьма неаппетитно: «А почему у него такое худое лицо? Почему на нем гимнастерка

и шлем со звездой?.. По трупам прошел студебеккер, два студебеккера, сорок студебеккеров, и ты все так же будешь лежать распластанный... Все это уже было!»

Это называется грезить? Мечтать о студебеккерах, которые пройдут по трупам?! Ужас героя перед этой картиной, отвращение — выдавать за мечты! «Обыкновенный фашизм» — прямо так и пишет. Но то, что это фашизм, — это ведь надо подкрепить, и вот Кедрина пишет: «Эту программу «освобождения» от коммунизма и от советского строя «герой» повести пытается обосновать, с одной стороны, заверениями, будто идея «открытых убийств» берет начало в самой сути учения о социализме», а с другой, что вражда — в природе человеческого общества вообще; кстати, в повести нет ни одного слова о советском строе, об освобождении от советского строя; герой повести как к последнему прибежищу обращается к имени Ленина («Не этого он хотел — тот, кто первый лег в эти мраморные стены»). Так, все-таки, кто пытается «обосновать программу освобождения» — герой повести или не герой? Я, когда прочел об этом у Кедринной, подумал, грешным делом, что это опечатка, типографская ошибка — вместо «отрицательный герой» или «другой герой» напечатали просто «герой», и получилось, как будто речь идет все время об одном и том же человеке, моем положительном герое. Но нет! Эти же слова прозвучали здесь, в зале, снова. А как же в самом деле? Герой не говорит, что «идея открытых убийств лежит в самой сути учения о социализме»? Так вот: к герою повести приходит его приятель Володя Маргулис, неумный и ограниченный человек. «Он пришел ко мне и спросил, что я обо всем этом думаю» («я» — это герой повести, говорящий от первого лица). И Володя Маргулис «стал доказывать, что все лежит в самой сути учения о социализме». Так как же, герой это говорит или другой персонаж повести? А герой говорит вот что: «За настоящую советскую власть надо засту-

паться»; герой говорит, что наши отцы делали революцию, и мы не смеем думать о ней плохо. Это что, герой повести обосновывает «программу освобождения от коммунизма и советского строя»? Неправда! А кто говорит, что «все друг друга в ложке воды утопить готовы»? Что «скоро звери единственным связующим звеном между людьми будут»? У Кедринной получается, что это тот же «положительный герой». Неправда! Это говорит полубезумный старичок-мизантроп, и герой с ним спорит. Так как же обстоит дело с идейным обоснованием псевдопризыва к расправе, к террору и освобождению от коммунизма и советского строя? А вот так, как говорю я, а не так, как утверждает Кедрина. Повесть была прочитана не так, как написана, а нарочито, предвзято, так ее невозможно прочесть.

В вину Синявскому и мне ставится все — в частности то, что у нас нет положительного героя. Конечно, с положительным героем легче, есть кого противопоставить отрицательному. А наша ссылка на других писателей, у которых нет положительного героя, воспринимается, во-первых, как попытка сравнить себя с этими большими писателями, во-вторых, очень простой ответ: когда речь идет о Щедрине, то — в его произведениях присутствует положительный герой, это народ. Очевидно, незримо присутствует, так как тот народ, который изображен в «Истории города Глупова», вызывает жалость, а не восхищение. И в «Господах Головлевых» народ — положительный герой? А ссылка на сказку о том, как один мужик двух генералов прокормил, — просто стыдно это слушать. Кедрина, видно, считает, что этот мужик, который из своих волос силки сделал, чтобы для генералов дичи добыть, мужик, который добровольно в рабство идет, — это положительный образ русского народа? Михаил Евграфович Щедрин не согласился бы!

Я не стал бы ссылаться на статью Кедринной, если бы вся система аргументации обвинения не лежала

бы в той же плоскости. Ну, как доказать антисоветскую сущность Синявского и Даниэля? Тут применялось несколько приемов. Самый простой, лобовой прием — это приписать мысли героя автору; тут можно далеко зайти. Напрасно Синявский считает, что только он объявлен антисемитом, — я, Даниэль Юлий Маркович, еврей, — тоже антисемит. Все при помощи этого простого приема: у меня все тот же старичок-официант говорит что-то о евреях, и вот в деле имеется такой отзыв: «Николай Аржак — законченный, убежденный антисемит». Может быть, это какой-нибудь неискушенный рецензент пишет? Нет, это пишет в своем отзыве академик Юдин...

Есть еще и такой прием: изоляция отрывка из текста. Надо выдернуть несколько фраз, купюрчики сделать — и доказывать все, что угодно. Самый убедительный пример этого приема — как «Говорит Москва» сделали призывом к террору.

Тут все время ссылаются на эмигранта Ф и л и п - п о в а : вот кто правильно оценил ваши произведения (вот кто, оказывается, высший критерий истины для государственного обвинителя). Но даже Филиппов не сумел воспользоваться такой возможностью. Казалось бы, чего уж лучше; если там есть призыв к террору, то уж Филиппов сказал бы: вот как подпольные советские писатели призывают к убийствам, к расправе. Но даже Филиппов не смог этого сказать.

Еще один прием: подмена обвинения героя вымышленным обвинением советской власти — то есть, автор говорит какие-то слова, разоблачая героя, — а обвинение считает, что это про советскую власть говорится. Вот пример. Обвинительное заключение построено в большей части на отзыве Главлита, так вот в отзыве Главлита говорится буквально следующее: «Автор считает возможным проведение в нашей стране Дня педераста». А на самом деле речь идет о приспособленце, цинике, художнике Чупрове, что он хоть про День педераста станет плакаты писать, лишь бы заработать, это про него главный герой

говорит. Кого он тут осуждает — советскую власть или, может, другого героя?

В обвинительном заключении, в отзыве Главлита, в речах обвинителей прозвучали одни и те же цитаты из повести «Искупление». А что это за цитаты? «Тюрьмы внутри нас» — это выкрики героя повести Вольского. Да, это сильное обвинение по адресу всех людей. И я вовсе не старался, как тут говорил Васильев, изобразить дело так, будто я занимаюсь изящной словесностью; я не пытаюсь уйти от политического содержания моих произведений. В этих словах Вольского есть политическое содержание — но что следует за этими выкриками? Кто это кричит? Это кричит безумный человек, он сошел с ума. Он вскоре оказывается в психиатрической больнице.

Еще один, тоже очень простой, но очень сильный прием доказательства антисоветской сущности: выдумать идею за автора и сказать, что в произведении есть антисоветские выпады, когда их там нет. Вот рассказ «Руки». Мой защитник Кисешинский аргументированно доказывал, что в этом рассказе нет антисоветской идеи, как его ни толкуй. Возражая ему, Кедрина сказала: «Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела». Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности. Это был ответ на выступление защитника по поводу рассказа «Руки» — и ни слова больше. Если говорить об этом рассказе, то я прошу вас всех. Вот сейчас закончится судебное заседание, и вы все пойдете домой. Подойдите к своим книжным полкам, возьмите книгу, раскройте ее и прочтите про то, как красный командир был направлен в команду, которая проводила расстрелы. Он почернел и высох на этой работе, он возвращается домой, шатаясь, как пьяный. И расстреливает он не священников, а хлеборобов, даже там есть такая деталь, я ее хорошо помню: он вспоминает руку рас-

стрелянного, заскорузлую, как конское копыто. Ему очень плохо, очень трудно и очень страшно, он даже оказывается несостоятельным как мужчина, когда остается с любимой женщиной. Ну, так как же, подходит этот отрывок под те формулировки, которые звучат в обвинительном заключении, — что классовая политика репрессий против советского народа и нравственно и физически калечит людей...

Судья: Что за чушь! Какая классовая политика репрессий?

Даниэль: Я цитирую обвинительное заключение, вот тут написано (читает): «...якобы классовая политика репрессий против советского народа». Так написано в обвинительном заключении.

Я сейчас, как вы, вероятно, догадались, пересказал одну главку из «Тихого Дона». Действующие лица — красный командир Бунчук и Анна.

Как еще нас обвиняют? Критика определенного периода выдается за критику всей эпохи, критика пяти лет — за критику пятидесяти лет, если речь идет даже о двух-трех годах, то говорят, что это про все время.

Обвинители стараются не замечать, что вся статья Синявского обращена в прошлое, что там даже все глаголы стоят в прошедшем времени: «мы убивали» — не «убиваем», а — «убивали». И в моих произведениях, кроме рассказа «Руки», — о 50-х годах, о времени, когда была реальна угроза реставрации культа личности. Я говорил об этом все время, это видно и из произведений, — не слышат.

И, наконец, еще один прием — подмена адреса критики: несогласие с отдельными явлениями выдается за несогласие со всем строем, с системой.

Вот вкратце методы и приемы «доказательства» нашей вины. Может быть, они не были бы такими для нас страшными, если бы нас слушали. Но правильно сказал Синявский — откуда мы взялись,

вурдалаки, кровопийцы, не с неба-де упали? И тут обвинение переходит к рассказу о том, какие мы подонки. Пускаются в ход странные приемы: обвинитель Васильев говорит, что за тридцать сребреников, пеленки, нейлоновые рубашки мы продались, что я бросил честный учительский труд и ходил с протянутой рукой по редакциям, вымаливая переводы. Я мог бы попросить свою жену, и она принесла бы ворох писем от поэтов, которые просят меня переводить их стихи. Не на легкие переводческие хлеба я ушел от обеспеченного преподавательского заработка, а потому, что с детства мечтал о поэтической работе. Первый перевод я сделал, когда мне было 12 лет. Какие это легкие хлеба, любой переводчик знает. Я оставил обеспеченную жизнь, обменял ее на необеспеченную. Я относился к этому как к делу своей жизни, никогда не халтурил. Среди моих переводов были, может быть, и плохие, и посредственные, но это от неумения, а не небрежности.

Странно, что в той области, где юрист должен быть безупречен, государственный обвинитель не признает фактов. Сначала я думал, что он оговорился, когда сказал, что мы признавали характер своих произведений: в 1962-м году была радиопередача, а мы после этого послали за границу «Говорит Москва», «Любимов». Позвольте, а что передавали? Ведь как раз «Говорит Москва» и передавали по радио — что же, я во второй раз послал эту повесть, что ли? Я подумал, что это оговорка. Но дальше снова то же: ссылаясь на статью Рюрикова, государственный обвинитель говорит — они были предупреждены, они знали оценку — и послали «Любимов» и «Человек из МИНАПа». Когда опубликована статья Рюрикова? В 1962-м году. Когда отправлены рукописи? В 1961-м году. Оговорки? Нет. Это государственный обвинитель добавляет штришок к моей личности, злобной, антисоветской. Любое наше высказывание, самое невинное, такое, какое мог бы произнести любой из сидящих здесь, перетолковывается: в «Говорит Мо-

сква» речь идет о передовице в «Известиях» — «а-а, вы издеваетесь над газетой «Известия»? Не над газетой, а над газетными штампами, над суконным языком; — мне злорадно говорят: «Наконец-то вы заговорили своим голосом!» Неужели сказать о газетных штампах, о суконном газетном языке — антисоветчина? Мне это непонятно. Хотя нет, в общем-то, все понятно...

Ничто здесь не принимается во внимание, ни отзывы литературоведов, ни показания свидетелей. Вот говорят, Синявский антисемит; но ни у кого не возник вопрос, откуда тогда у него такие друзья? Даниэль — ну, хотя Даниэль сам антисемит; но моя жена Брухман, свидетель Голломшток, или эта мило картавившая здесь вчера свидетельница, которая говорила, какой «Андгей хогоший человек»...

Проще всего — не слышать.

Все, что я сказал, не значит, будто я считаю себя и Синявского светлыми и безгрешными ангелами и то, что нас надо сразу после суда освободить из-под стражи и отправить домой на такси за счет суда. Мы виноваты — не в том, что мы написали, а в том, что отправили за границу свои произведения. В наших книгах много политических бестактностей, перехлестов, оскорблений. Но 12 лет жизни Синявского и 9 лет жизни Даниэля — не слишком ли это дорогая плата за легкомыслие, за неосмотрительность, за просчет?

Как мы оба говорили на предварительном следствии и здесь, мы глубоко сожалеем, что наши произведения использовали во вред реакционные силы, что тем самым мы причинили зло, нанесли ущерб нашей стране. Мы этого не хотели. У нас не было злого умысла, и я прошу суд это учесть.

Я хочу попросить прощения у всех близких и друзей, которым мы причинили горе.

Я хочу еще сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому

и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ.

Это всё.

Я готов выслушать приговор.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА

(Выдержки из выступления)

12. 5. 1966

Первый суд над студентом М. Джемилевым состоялся в Ташкенте в мае 1966 года. По статье 70, ч. I УК УзССР (уклонение от призыва в армию) Джемилев был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. — Р е д .

...Сотрудники КГБ взбешены тем, что мы собираем статистические данные о погибших на местах ссылки крымских татар, что собираем материалы против садистов-комендантов, которые издевались над народом в годы сталинщины и которые в соответствии с Уставом Нюрнбергского Трибунала должны предстать перед судом за преступления против человечности...

В результате преступления 1944 года я потерял тысячи и тысячи своих братьев и сестер. И об этом надо помнить! Помнить так же, как о крематориях Освенцима и Дахау. Помнить, чтобы это больше никогда не повторилось. Помнить и в корне изживать нацистскую и шовинистическую гадину, порождением которых явились эти преступления. Но это кому-то не нравится...

Я надеюсь, что вы, вынося приговор по делу, будете руководствоваться только законом и справедливостью, клеймите позором виновных независимо от занимаемого ими положения и закроете тем самым в какой-то мере пути к произволу и официальной подлости. Если вы проявите страх перед преступными элементами из КГБ — это будет означать торжество и поощрение зла, олицетворением которого являются эти мерзавцы.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ И ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО М. И. ХОРЕВА

Июнь 1966

Суд над благовестником Совета Церквей Евангельских христиан-баптистов М. И. Хоревым состоялся в Москве. По статье 142 УК РСФСР (об отделении церкви от государства) Хорев был приговорен к 2,5 годам лагерей общего режима. — Р е д .

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Я никогда бы не стал пользоваться этой возможностью защищаться, чтобы выгородить себя, если бы речь шла только обо мне. Но так как речь идет о деле, которое мне было вверено Церковью, я взял слово для защиты.

Я действительно принимал активное участие в работе Совета Церквей. Способностей особых не имел, но отдавал все силы, всё, что мог. К этому меня побуждала любовь к Господу и Церкви.

Прокурор сказал, что я оставил работу в целях наживы на копейках верующих, но это ничем не обосновано и не подтверждено. В двух томах дела нигде не сказано, что я кого-то обобрал или отнимал добровольные пожертвования. Сказать, что меня побуждало на служение тщеславие — неверно. Если говорить о возвышении, то нужно было идти другим путем, путем предательства, соглашательства. Но моя совесть мне этого не позволяла.

С начала моего служения, я знал, что мой путь лежит чрез скамью подсудимых, потому что верующие всегда гонимы.

Сейчас я хочу более подробно остановиться на документах Совета Церквей, в распространении которых я принимал самое активное участие. Документы

эти составлялись на совещаниях Совета Церквей. Все они были религиозного характера, основанные на Священном писании. Были и информационные, в которых мы сообщали об узниках, осужденных за Слово Божие, чтобы верующие молились о них, также сообщали в них, кто проходит дело Божие в общинах.

Я обвиняюсь за общение 5 сентября 1965 г. Свидетель говорит, что общение носило как будто политический характер. Но мы молимся об узниках на каждом богослужении. Посторонним могло показаться это странным, так как у нас свобода вероисповедания гарантируется законом, они думают, что верующие находятся в узах за преступление. Мы же знаем, что друзья наши в узах за проповедь Евангелия. Церковь всегда молится об узниках и Господь слышит ее молитвы, и наши братья, не отбыв срока, были реабилитированы.

А что касается вопроса о детях, я также не могу обойти его молчанием.

Свидетель заявил, что в одном из текстов был призыв бороться за то, чтобы в школах детям преподавали религию. Я дословно процитирую все три текста, которые там были:

1. «Мы проповедуем Христа распятого»,
2. «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя»,
3. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте».

Как видите, в этих текстах нет ничего похожего. Я не хочу обвинять свидетеля, но думаю, что все тексты были достаточно хорошо видны, чтобы правильно прочитать их.

Не соответствует действительности показание свидетеля, что на собрании в г. Киеве выступал мальчик с просьбой, чтобы в школе преподавали религию.

Было так. Мальчик встал и попросил слово. Обратившись к родителям и присутствующим, он сказал, что вот уже 4 дня, как родители отправили детей в

школы за приобретением знаний. Мы просим, чтобы нам уделили внимание в богослужениях и молились за всех детей, так как и мы имеем такие же бессмертные души, как и вы. Он просил молиться, чтобы Бог помог детям перенести все трудности и остаться верными Господу. «Я не свое только желание говорю, но желание всех детей, — говорил мальчик, — правильно, дети?» Дети хором ответили: «Правильно!»

Что касается принятия в церковь детей — этого не было. У нас принимают в церковь через водное крещение. А покаяния бывают в собраниях часто. И в этот раз девушка лет 18, обратившись к Церкви, сказала: «Помолитесь за меня, я хочу служить Господу». Пресвитер тогда спросил, не желает ли кто еще отдаться Господу. Желающих оказалось несколько десятков. Они вышли, и о них совершили молитву.

От воспитания детей мы никогда не откажемся. Благодарю Бога, что нет таких законов, которые запрещали бы верующим воспитывать своих детей, а если бы даже и были, то ради детей наших мы готовы жертвовать свободой и даже жизнью.

Дальше я хочу коснуться документов экспертизы. То, что мы молились об узниках, не нравится эксперту, и то, что по пятницам у нас пост и молитва о деле Божьем. Материал об освящении тоже не нравится ему и он возмущается нашим понятием о грехе, но это не должно бы вас волновать.

Не нравится эксперту и письмо в конституционную комиссию. В нем была выражена просьба верующих к правительству четко сформулировать в вырабатываемой Конституции статью о свободе вероисповедания и другие пожелания. Каждый человек может вносить свои предложения в комиссию, а примут их во внимание или нет — другое дело.

Прокурор обвиняет нас в том, что мы, не дождав-шись ответа от правительства, продолжали соби-раться. С 1961 г. верующие обращались в правитель-

ство с просьбой зарегистрировать общины. Письма были не анонимные, но ответа мы не получали.

Утверждать, что мы просили правительство сместить ВСЕХБ, значит сознательно и грубо искажать смысл законных и справедливых просьб верующих. Единственно о чем мы просили правительство — это дать разрешение на съезд. Доказательством служат многочисленные заявления от поместных Церквей и Совета Церквей.

Почему мы собираемся в незарегистрированных помещениях? По той причине, что нам без всяких оснований отказывают в регистрации, а с общин, имеющих ее, снимают. Я приведу пример: в г. Барнауле в 1961 году...

Судья (*перебивая*): События 1961 г. вам не вменяются в вину.

Хорев: Я касаюсь этого вопроса, потому что прокурор касался его. В Барнауле пресвитер Саблин был отлучен верующими, но когда он обратился к властям, то те пришли в тот же день в молитвенный дом и потребовали восстановить Саблина. Когда верующие отказались, власти закрыли молитвенный дом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я буду очень краток. Как я уже сказал, виновным себя не признаю ни в чем. Обо всем, что было сделано, не сожалею и как служитель церкви совершенно спокойно готов отбывать любой срок.

Никаких просьб к суду не имею.

Все сложил у ног Христа!

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ И ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Ф. В. МАХОВИЦКОГО

28. 11. 1966

Суд над баптистом Ф. В. Маховицким проходил в Ленинграде. По статье 142 УК РСФСР (за нарушение закона об отделении церкви от государства) Маховицкий был приговорен к 2 годам лагерей общего режима и 1 году принудительной работы на заводе с удержанием 20% заработной платы. — Р е д .

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Граждане судьи и все слушатели, я имею честь предстать перед судом не как преступник, а как христианин, исповедующий Имя Иисуса Христа пред людьми.

Я верю в Бога, это право дано мне самим Богом.

Это право дано мне и законами нашей страны. Но законы эти попираются сегодня людьми, которые хотят уничтожить церковь.

Если закон об отделении церкви от государства остается в силе, то почему мы, христиане, не можем свободно, без вмешательства извне, проводить наши богослужения! Почему мы в нашей деятельности внутрицерковной жизни не можем решить вопроса свободных выборов на пост пресвитера или быть самому избранному на это служение? Вы меня сегодня судите, как пресвитера.

Мы не за тайное проведение богослужений, нет. Мы неоднократно обращались в органы власти с вопросом о регистрации, но ответа до сих пор нет. Поэтому мы вынуждены были собираться где придется и, в частности, в районе остановки «Привал», это далеко от дороги и от населенного пункта. Мы

никак не могли нарушить там общественный порядок, там не перед кем его нарушать.

Но вы хотите, чтобы мы вообще не проводили наших богослужений. А мы этого сделать не можем.

По поводу 30 мая, в чем ныне обвиняют меня. Нам тогда не только мешали проводить богослужение, но и забрали нашего брата Кисина. Почему одного забрали? Надо было забрать всех. Все были на собрании, все молились, значит все одинаково «виновны», в том числе и я. Я тоже молился вместе со всеми. Поэтому мы и решили все пойти в отделение милиции, когда забрали одного брата. Мы руководствовались словами Иисуса Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Там мы и спели наш гимн. Я этого не отрицаю.

В обвинение мне ставится также происшествие 3 октября. В этот день у нас отмечался праздник жатвы, то есть день, в который мы, христиане, благодарим Бога за те плоды, которые произрастила земля. Но нам решили помешать и в этом служении. Приехавшие устроили шум, дикие крики, свои пения, включили громкоговорители. В такой обстановке мы не могли проводить служение и решили перейти в другое место. Мы встали и пошли с пением. Если бы нам не мешали проводить наше богослужение, то мы бы ушли оттуда так же незаметно, как и пришли.

Когда прибыл усиленный наряд милиции, они сделали свое дело, взяв некоторых наших друзей, в том числе и меня, за это я отсидел 15 суток.

Но главное, в чем вы меня хотите сегодня обвинить, это в распространении документов, изданных Советом Церквей. Но никто здесь не мог доказать это. Из показаний свидетелей видно, что я распространением литературы не занимался. То, что у меня при обыске была найдена литература, это не говорит о том, что я занимался ее распространением. Как верующий, я имею право читать и получать религиозную литературу. Литература Совета Церквей

религиозная, есть среди документов Совета Церквей и информационные материалы по вопросам церковной жизни.

Вы меня упрекаете в неповиновении высшим властям. По гражданской линии я нигде и ни в чем не нарушал законов. Что же касается моей духовной жизни, то должно повиноваться больше Богу, нежели человеку.

Виновным я себя не признаю. У меня всё.

Защитительная речь брата Маховицкого неоднократно прерывалась судьей.

Затем было предоставлено Маховицкому последнее слово...

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Я еще раз благодарю Бога, что могу предстать пред судом за Имя Его.

Судья (прерывая): Мы не позволим вам говорить здесь проповедь.

Брат Маховицкий был лишен последнего слова, и суд удался на совещание.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЯЧЕСЛАВА ЧЕРНОВОЛА

15. 8. 1967

Суд над В. Черноволом состоялся во Львове. По статье 187¹ УК УССР (клевета на советский строй или советскую действительность) Черновол был приговорен к 3 годам лишения свободы. — Р е д .

Граждане судьи! Должен признаться, что как был я неисправимым оптимистом, так им, наверное, и помру. Сначала я слал в высокие инстанции заявления, наивно надеясь на какие-то положительные результаты. И даже совсем неожиданный результат — тюрьма — меня не до конца охладил. Остатки розового оптимизма у меня оставались еще сегодня утром, в начале судебного заседания. Очень уж очевидной казалась мне моя невиновность. Но постепенно в ходе судебного заседания мой розовый оптимизм начал перерастать в черный пессимизм. Я увидел явную предубежденность и понял, что остановить операцию и доказать, что я не верблюд, мне не удастся. Мое ходатайство о вызове свидетелей и включении документов отклонили без мотивированных объяснений; мои доказательства, высказанные в начале судебного заседания, оставили без обсуждения; существа дела старались не касаться, орудуя нешироким арсеналом ярлычных определений. Постепенно нагнеталась тяжелая атмосфера, увенчавшаяся обвинительным словом прокурора Садовского, от которого я даже узнал такое, чего раньше не знал ни от следователя, ни из обвинительного заключения.

Оказывается, я еще и националист. Вот только бы уточнить — буржуазный или, может, социалистический? Я в своих заявлениях не касался национального вопроса. Такое заключение делается только на основании того, что я писал о нарушениях закон-

ности, допущенных на Украине. А если бы я жил в Тамбове и написал что-нибудь подобное — каким бы я националистом был, тамбовским? Львовские прокуроры не могут без того, чтобы к «делам» такого типа, как мое, не привязать национализма. Они, наверное, в каждом втором буржуазного националиста видят.

Прокурор цитирует часто цитируемые слова Ленина о «едином взаимодействии пролетариев великорусских и украинских». Но нельзя обходиться все время одной цитатой, нужно брать ленинскую национальную теорию в целом. Должен напомнить государственному обвинителю, что В. И. Ленин уже в советское время, когда существовал СССР, настойчиво подчеркивал, что местный национализм сам по себе не возникает, что он всегда бывает реакцией на великодержавный шовинизм, что лучший способ борьбы с национализмом — искоренять его первопричину — шовинизм. Эти ленинские указания отражались в решениях партийных съездов до самого начала тридцатых годов, когда Сталин окончательно стал проводить свою национальную политику.

Еще одно открытие сделал прокурор: оказывается, я пою с чужого голоса. Источником моих мыслей он делает какого-то американца Э в е н ш т е й н а. Может, государственный обвинитель подскажет мне, где бы я мог почитать цитированного им Эвенштейна? Ведь у нас судят по 62 статье Уголовного кодекса (УССР) только за чтение таких книг, независимо от того, разделяю ли я их мнение. Никак не может представить себе государственный обвинитель, что можно без помощи эвенштейнов или кого-нибудь другого сформировать свои собственные мысли, собственные убеждения. Я, видите ли, виновен еще и в том, что мое сопроводительное письмо к П. Е. Шелесту передала радиостанция «Свобода» и напечатал журнал «Сучасність». И этот факт смакуется, хотя к сегодняшнему обвинению он не имеет ни малейшего отношения. Государственный обвинитель высказы-

вает даже предположение, что, может, я лично передал эти материалы, а перевернутые данные о моей личности, приведенные там, — всего лишь хитрый прием. На чем строятся эти предположения? Исключительно на желании нагнести обстановку в суде.

Прокурор тут вспоминал выступление П. Е. Шелеста на XXIII съезде КПСС, в котором первый секретарь ЦК КПУ называл имена способной творческой молодежи. От этой молодежи государственный обвинитель меня отмежевывает. А известно ли уважаемому прокурору, что произведения названных Шелестом лиц, напечатанные и ненапечатанные, независимо от желания авторов также появляются в тех журналах и передаются теми радиостанциями? Но ведь их не судят за это и даже называют как лучших с трибуны партийного съезда.

В длинном и «пристрастном» слове прокурора мало чего-нибудь существенного, что требовало бы ответа. Ведь не назовешь же аргументами, например, выражения, не делающие чести юристу: «поднял иступленный шум», «распускает по свету божьему пасквили», «зубоскальство», «как пьяный хулиган» и т. п. Я не хочу оскорблять личность уважаемого прокурора, как он оскорбляет меня. Но все-таки должен выразить сожаление, что в свое время в одном из наших юридических вузов, немного обучаясь науке Демосфена, совсем не обращали внимания на формальную логику. Государственный обвинитель делает ту же логическую ошибку, что и в обвинительном заключении: частичное возводит в ранг всеобщего или вообще делает обобщающие выводы из ничего, из своих субъективных представлений. Прокурор несколько раз подчеркивает, что своими «клеветническими заявлениями я хотел повлиять и влиял на некоторые нестойкие группы населения». Но ведь следствие не установило ни одного факта распространения мною заявления «Горе от ума», кроме посылки его в официальные республиканские органы. Итак, по логике прокурора, «нестойкие группы

населения» — это первый секретарь ЦК КПУ П. Е. Шелест, председатель КГБ при Совете Министров Никитченко и другие руководители республиканского ранга. Строить же обвинение на субъективных предположениях прокурора о моих намерениях — юридически жалкий прием.

Такой же спекулятивный прием — перенесение центра тяжести на Караванского. Я писал о двадцати осужденных, а не об одном Караванском. Но осужденные, в основном, молодежь, а на прошлом Караванского можно сыграть, сев на своего любимого конька — национализм. Но ведь я нигде не писал, что оправдываю прошлое Караванского, я только утверждал и утверждаю, что повторное заключение способного переводчика и лингвиста Караванского через 5 лет после амнистии — юридически не обосновано, а 25-летний срок заключения — действительно каннибальский.

Речь прокурора могла бы быть вдвое короче, если бы он не адресовал мне претензий к произведению Валентина Мороза «Репортаж из заповедника имени Берия». Я нигде не писал и не заявлял, как я отношусь к содержанию заявления Мороза. Я сделал то, что сделал бы на моем месте каждый порядочный человек: по просьбе Мороза, переслал его заявление адресатам — депутатам Верховного Совета СССР. Морально оправдывает меня и то обстоятельство, что, как мне известно, администрация мордовских лагерей не пропускает заявлений и жалоб заключенных на лагерный режим, и потому заключенные должны обращаться к внецензурным способам передачи жалоб в руководящие инстанции. Во время следствия по своему делу я узнал, что политзаключенный Валентин Мороз за написание «Репортажа из заповедника имени Берия» повторно привлечен к уголовной ответственности. Потому прокурор Садовский имеет возможность предложить свои услуги, выступить на суде Мороза и адресовать ему то, что адресовал тут мне.

Однако с некоторыми пунктами обвинительной речи я целиком согласен. С тем, например, что автобусы с маркой «Львов» можно встретить во многих странах, что на Львовщине добывают немало нефти и газа, что в Казахстане нужно развивать хозяйство. Согласен с тем, что дружба народов — великое дело, и не только народов СССР. Если только это, конечно, дружба равноправных народов и если она духовно обогащает все народы. Согласен еще со многими известными истинами. Не понимаю только, какое все это имеет отношение к выдвинутому против меня обвинению. Видно, государственного обвинителя и здесь подвела недоученная им в свое время формальная логика.

Не буду больше тратить времени на полемику с прокурором, потому что полемизировать можно с какими-то тезисами, подкрепляемыми аргументами. А на брань бранью я отвечать не умею. Не буду еще раз повторять доказательства своей невиновности. Слишком много я об этом сегодня говорил, к тому же, я присоединяюсь к сказанному адвокатом Ветвинским.

Давайте лучше, граждане судьи, на минутку оторвемся от очень серьезных исследований, который из двух взятых мною эпиграфов более клеветнический, и дописал их или не дописал я кому, перепечатывая лагерные стихи *О с а д ч е г о*. Давайте также не будем гадать, как прокурор, что я хотел сделать и что я мог бы сделать. Оставим эту софистику и посмотрим на то, что происходит в этом зале, со стороны.

Я считаю, что суд надо мной — далеко не рядовой суд, а даже в какой-то степени этапный. Потому что тут судят не только меня как личность, тут судят мысль. Потому и решение, которое вы примете, будет касаться не только Черновола как такового, а и определенных принципов нашей общественной жизни. Меня, кажется, едва ли не первым на Украине судят по статье 187¹ (УК УССР). Я писал из тюрьмы в президиум Верховного совета УССР, что, как пока-

зал мой арест, принятая им на пятидесятом году советской власти статья Уголовного кодекса не является дальнейшим развитием социалистической демократии. Напротив, она дает в руки следственным и судебным органам неправомерно широкие права, позволяет им вмешиваться в сферы идеологии, лежащие вне их компетенции, заставляет их становиться, как мы это сегодня видели, философами и литературными критиками, экономистами и социологами — и выносить окончательный приговор во всех этих вопросах, которые временами являются дискуссионными даже для специалистов. Статья 187¹, как показывает суд надо мной, открывает возможность прямого наступления на право человека иметь свою мысль, свои убеждения.

Действительно, вдумаясь, что же означает в сегодняшней интерпретации клевета на советский строй или на советскую действительность. Что такое клевета вообще — понятно. Если я говорю, что майор *Гальский* из Львовского КГБ является новоявленным унтер-пришибеевым, потому что занимается рукоприкладством, а следователи того же управления КГБ *Сергадеев* и *Клименко* не останавливаются перед угрозами и матерщиной, чтобы получить показания, и эти факты при проверке не подтверждаются, — то это будет клевета, а если я все это выдумал, то заведомая клевета. Но клевета не на советскую действительность, а на личность майора и двух его коллег. На это есть статья в Уголовном кодексе. Если я на основании этих двух выдуманных фактов сделаю вывод, что матерщина и мордобой — это вообще стиль работы Львовского управления КГБ — это будет заведомая клевета на учреждение, но никак не на советский строй. Так что же считать клеветой на советский государственный и общественный строй?

Если бы я, например, в научной статье или в выступлении с трибуны начал утверждать, что централизм в условиях социализма — не наилучший

принцип внутривластной и хозяйственной жизни, что в рамках социализма и советской системы большой эффект даст децентрализация, широчайшее производственное и территориальное самоуправление, и если я бы обосновал это положение экономическими выкладками, сослался бы на пример других стран, например, Югославии, то, даже отвергнув мои положения, можно ли меня судить за них как за клевету на советскую действительность? Что это — клевета или мои убеждения? Если бы я, внимательно изучив произведения Ленина, начал утверждать, что теоретически мы придерживаемся правильных ленинских указаний в национальном вопросе, а на практике допускаем отклонения от них, и этот тезис обосновал бы ленинскими положениями и анализом конкретных данных по вопросам современного культурного строительства, экономики и т. п. — то, что это с моей стороны — мировоззрение, мои убеждения или клевета на советскую действительность?

Если бы я, наконец, стоя обеими ногами на платформе XIII съезда КПСС, начал утверждать вслед за Пальмиро Тольятти, что демократизация советской жизни, начавшаяся с XX съезда КПСС, идет слишком медленно, что у части граждан еще не целиком изжита психология времен культа, что у нас случаются достойные сожаления экскурсы в прошлое, если я вслед за поэтом Евтушенко «обращаюсь к правительству нашему с просьбой: удвоить, утроить у этой стены караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое» (это стихотворение в свое время печаталось в «Правде») — то что это будет с моей стороны: мое конституционное право обращаться со своими соображениями к избранным мною руководителям или «распространение клеветнических измышлений»?

И если бы даже во всех трех случаях я ошибался (ибо, уважаемый прокурор, ошибаться может даже Верховный суд; не ошибаются только боги, а их, как

известно, нет) и моим аргументам можно противопоставить другой ряд аргументов, которые оказываются более вескими, то значит ли это, что меня нужно отдавать под суд, чтобы и я, и все другие в будущем не отваживались думать?

А ведь я не делал в своих заявлениях таких широких сообщений, как приведенные выше. Мои выводы значительно уже и имеют конкретного адресата. И все же меня судят именно за две-три обобщающие фразы, не найдя нужным рассмотреть ни одного из десятка фактов, на основании которых я сделал эти выводы. Сразу после ареста я дни и ночи насквозь продумывал содержание своих заявлений, вспоминая все факты, и думал: где я мог допустить клевету? Конечно, не заведомую, но где я дал обмануть себя? И на одном из первых допросов я сказал следователю примерно так: «Знаете, здесь у меня стоит неправильная фамилия, а в этом факте я не уверен, потому что получил его из третьих рук». Но следователь *Крикливец* отмахнулся: «А меня эти факты совсем не интересуют, даже если они все правдивы, а вот что именно вы думали, давая такое название своему заявлению?..». Так как же мне не сделать вывод, что меня судят за убеждения, что кому-то нужно препарировать мой мозг, вложить в заготовленную стандартную форму?

Я говорю, что суд надо мной — не рядовой суд и может иметь громкий резонанс еще и потому, что не припоминаю случая за последние годы, чтобы человека так откровенно судили за убеждения. Этого не было даже на тех судах, о которых я писал в своих заявлениях. Когда в июне 1966 года я спросил у капитана *Клименко* из Львовского КГБ: «Скажите, пожалуйста, за что все-таки дали кандидату наук *Осадчему* два года лагерей строгого режима? Неужели за то, что прочел те две статьи?» — то капитан ответил мне: «Эге, если бы ты знал, что у него в дневнике было понаписано». Но в приговоре дневник все-таки не упоминался, а упоминались две кра-

мольные статьи. Меня же даже формально судят за убеждения, только это слово стыдливо заменяют словом «клевета». Я уверен, что и прокурор, и судьи в глубине души понимают, насколько смехотворно обвинение в распространении клеветнических измышлений оригинальным путем направления их в ЦК партии и КГБ. И все-таки вы меня судите...

Наконец, последнее. Когда летом 1966 года я объяснял судье Ленинского района Львова, почему я считал закрытый суд по делу братьев Гориней незаконным, он прямо спросил: «Черновол, а кто вы такой, чтобы решать, законно что-то делается или незаконно? Ведь для этого есть соответствующие органы». Сегодня этот же аргумент выдвигали прямо и недвусмысленно и судья Назарук, и прокурор Садовский. Я — советский гражданин. Оказывается, этого мало. Если бы просчеты следственных и судебных органов, которые заметил я, захотел заметить такой же советский гражданин, как и я, но занимающий пост прокурора республики, то ошибки были бы исправлены, а виновные, возможно, наказаны. Меня же самого наказывают...

Когда победила революция и началось строительство государства нового типа, В. И. Ленин постоянно требовал, чтобы как можно больше граждан принимали участие в руководстве государством и обществом, в этом он видел единственную гарантию успешного развития социализма. Его известное высказывание о том, что кухарка должна уметь управлять государством, не следует, конечно, понимать вульгарно: что кухарку обязательно нужно сажать в кресло премьер-министра или что умение руководить государством — это умение поднимать руку при вопросе «Кто за?». Эти слова нужно понимать так, что при социализме каждый рядовой гражданин должен уметь думать по-государственному, «должен уметь в каждом сложнейшем случае сформулировать свою точку зрения», а не ждать, пока ему запрограммируют очередную программу. Доказательством этого мо-

гут быть другие слова В. И. Ленина, сказанные им уже в первые месяцы советской власти: «Граждане должны участвовать поголовно в суде и в управлении страны. И для нас важно привлечение к управлению государством поголовно всех трудящихся. Это — гигантски трудная задача. Но социализм не может ввести меньшинство — партия. Его могут ввести десятки миллионов, когда они научатся это делать сами». Я попытался действовать в соответствии с этими ленинскими указаниями — и о результатах этой попытки вы мне сейчас сообщите.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВАДИМА ДЕЛОНЕ

1. 9. 1967

Суд над В. Буковским, В. Делоне и Е. Кушевым проходил в Москве в августе-сентябре 1967 г. За участие в демонстрации в защиту Ю. Галанскова и других арестованных. Делоне был приговорен к 1 году лишения свободы условно, Буковский (за организацию демонстрации) — к 3 годам лишения свободы, Кушев — к 1 году лишения свободы условно.

О процессе Буковского—Делоне—Кушева см. «П о с е в» №№ 35, 36/1967. — Р е д .

Прежде чем начать последнее слово, я хотел бы еще раз заверить суд в своей абсолютной искренности. Работники КГБ и гражданин прокурор могут обвинить меня в чем угодно, но они не могут обвинить меня в неискренности. Мой друг Владимир Буковский не менее принципиален в этом отношении, да это и понятно, — он считает, что он действовал совершенно правильно. Я не считаю, что я действовал правильно, однако я знал, что предстану перед советским судом, и считал, что не имею права вводить суд в заблуждение, тем более, памятуя необычность нашего дела. Поэтому я на первом же допросе заявил о том, что держал лозунг, хотя меня, собственно, задержали не за это и хотя этого никто не показывал, а Хаустов даже брал на себя этот эпизод. По той же самой причине я показывал и о других моментах, которые никак не могли пойти мне на пользу. Так, например, я предполагал, что обвинение может воспользоваться моим заносчивым ответом полковнику КГБ Абрамову на площади Пушкина (так оно и вышло), однако я намеренно рассказал об этом в своих показаниях здесь, в зале суда.

Граждане судьи, я жду от вас справедливого приговора. Я не даю юридической оценки своим дейст-

виям. Вам, а не мне решать, переступил я границу закона или нет. Могу сказать одно: принимая участие в демонстрации, я никак не предполагал, что совершаю какое-либо правонарушение. Все мы, участники демонстрации, включая людей, разбирающихся в юриспруденции, как, например, Александр Сергеевич В о л ь п и н - Е с е н и н, находящийся сейчас в зале, все мы были убеждены в том, что не совершаем правонарушения, выходя на демонстрацию. Мы были уверены в том, что лишь нарушение работы городского транспорта или неповиновение представителям власти может повлечь за собой уголовную ответственность. Поэтому-то, когда полковник КГБ Абрамов посоветовал мне уйти с площади, я и спросил его, понимать ли это как «приказ представителя власти». До того с подобными предложениями ко мне никто не обращался. Никто из нас не оказал сопротивления или неповиновения представителям власти, за исключением, пожалуй, Хаустова, да и тот никак не мог знать, что набросившиеся на него люди в штатском — представители власти. Таким образом, если я и нарушил закон, то нарушил его не из преступного умысла и не по неосторожности. Я знал, что стихийные демонстрации имели место. Я имею в виду демонстрацию с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем и демонстрацию смогистов у ЦДЛ. Хотя я и не принимал в них участия, я знал, что за эти демонстрации никого к уголовной ответственности не привлекали. Уже после вступления в силу нового Указа — статьи 190³ — я лично принял участие в митинге молчания на площади Пушкина, созванном в связи с попытками частичной реабилитации Сталина. Однако ни для меня, ни для других лиц, собравшихся на площади Пушкина 5 декабря, в День конституции, этот митинг не обернулся печальными последствиями. Меня даже никуда не вызывали по этому поводу. Я знал, что аналогичные митинги-демонстрации проходили в других городах, как, например, митинг в Бабьем Яру

в Киеве в конце прошлого года. Исходя из всего этого, я никак не мог предполагать, что сам факт стихийной демонстрации может быть рассмотрен как правонарушение, как грубое нарушение общественного порядка. Да и сам гражданин прокурор признает возможность у нас стихийных демонстраций. Он сам приводил здесь пример, когда люди, радуясь очередному запуску космонавта и желая поделиться с другими своей радостью, выходят на улицу с самодельным лозунгом: «Ура, наши в космосе». Ну, а мы хотели поделиться своим горем: арестовали наших приятелей, мы хотели поделиться своим беспокойством за их судьбу. Непонятно, почему возникает вопрос: к кому вы обращаетесь? А к кому обращаются люди, несущие лозунг «Ура, наши в космосе»? Так же, как и мы, ко всем. Никто здесь в зале суда не говорил о том, что мы нарушили порядок в обычном понимании этого слова. Но что же тогда, сам текст лозунга является нарушением общественного порядка? Но ведь лозунги были не антисоветские, иначе бы нас привлекли по статье 70. Да, я считаю, что мы нарушили порядок, порядок обращения в соответствующие инстанции по поводу ареста наших приятелей, нарушили его, выйдя на площадь с, мягко говоря, непродуманными лозунгами — «Свободу Галанскову, Добровольскому» и т. д., но мы нарушили порядок обращения, а не общественный порядок. Может быть, я и не имею морального права протестовать против уже принятого закона в форме демонстрации, но я не вижу ничего криминального в нашем требовании пересмотреть статьи 70 и 190. Ведь это не просто так: Володе Буковскому и Вадиму Делоне взбрело в голову протестовать против этих статей, и они устроили демонстрацию. Принятие нового указа (то есть статьи 190) вызвало широкий резонанс в кругах нашей общественности. Разумеется, я знал текст статьи 190, иначе я и не пошел бы на демонстрацию. Я знал и о письме с требованием пересмотреть антиконституционную статью 190

Уголовного кодекса. Я знал, что это письмо было подписано такими значительными лицами, как академик Леонтович, писатель Каверин, кинорежиссер Ромм и др. У меня не вызывала сомнений компетентность этих людей, их гражданственность в самом лучшем понимании этого слова. Я думаю, это не вызывает сомнений и у вас, граждане судьи.

Гражданин прокурор говорил здесь о том, что вот, мол, такие большие люди, как Леонтович и Каверин, нашли способ высказать свое мнение разумным путем — написали письмо, а вот мы, подсудимые, позволили себе выйти на демонстрацию и тем самым переступили границу закона. Почему же, — спрашивает гражданин прокурор, — мы не поступили, как Леонтович, Каверин, Ромм и др. Не знаю, как гражданин прокурор, но я как-то не совсем представляю себе академика Леонтовича, которому уже перевалило за семьдесят, на своем месте, т. е. с древком лозунга в руках на площади Пушкина. Это во-первых. Во-вторых, гражданин прокурор и граждане судьи, вы, очевидно, прекрасно понимаете, что если письмо протеста подписано академиками, лауреатами государственных премий, членами Верховного совета СССР — это один эффект. Совсем другое дело, если письмо подписано Буковским и Делоне, такое письмо и читать не будут. Демонстрация — это единственная мера, которую мы могли принять в качестве протеста. Кстати говоря, люди с высоким общественным положением тоже иногда принимают участие в стихийных демонстрациях. В Бабьем Яру в Киеве выступали многие писатели и другие представители общественности. В нашем деле имеются показания ряда лиц, что в митинге молчания на той же площади Пушкина 5 декабря 1966 г. приняли участие некоторые известные советские писатели.

Гражданин прокурор вменяет мне в вину то обстоятельство, что я, будучи не уверен в правомочности этой демонстрации, обратился за советом к своим

старшим товарищам, а не в юридическую консультацию. Прежде всего, у меня практически не было времени для обращения, так как я узнал о демонстрации всего за два дня до нее, а сомнения по поводу ее правомочности и вовсе зародились во мне накануне 22 января. Во-вторых, я далеко не убежден, что в юридической консультации мне удалось бы получить исчерпывающий ответ. Я говорю это не без основания. После задержания на площади я, как и другие задержанные, был доставлен в городской штаб дружины и имел там продолжительную беседу с полковником КГБ Абрамовым, секретарем ЦК комсомола *Матвеевым* и секретарем МК партии *Михайловым*. Я признал свои действия несостоятельными, но никто в штабе городской дружины не говорил мне о возможности уголовной ответственности, а полковник Абрамов, между прочим, заявил мне дословно следующее: «Мы же спасли вас, Делоне, задержав на площади. Если бы вы пробыли там еще хотя бы минут 20, то собралась бы такая толпа народа, что движение было бы остановлено, и тогда вы, Делоне, поэт, интеллигентный молодой человек, были бы привлечены к уголовной ответственности за нарушение общественного порядка и сидели бы в тюрьме вместе с хулиганами и бандитами». Граждане судьи, у меня возникает один вопрос: если безусловно сведущий в вопросах права человек, как полковник КГБ Абрамов, считал привлечение к уголовной ответственности по статье 190³ возможным лишь в случае нарушения общественного порядка или неповиновения представителям власти, то мог ли я, человек, имеющий более чем дилетантские представления о юриспруденции, знать, что, принимая участие в демонстрации, я совершаю преступление? Гражданин прокурор подчеркивает то обстоятельство, что, сомневаясь в целесообразности и пользе этой демонстрации, я все-таки оказался в числе ее активнейших участников: доставил лозунг на площадь, развернул его вместе с Хаустовым и не покинул площа-

ди после того, как лозунги были отобраны. Разумеется, здесь сыграло свою роль не только чисто случайное стечение обстоятельств, были и другие причины. Я считал, что если я все-таки дал согласие на участие в демонстрации с определенными лозунгами, то и должен демонстрировать эти лозунги-требования, а не занимать позицию типа: Я не я, демонстрация не моя, и вообще стою с краю, ничего не знаю».

С у д ь я : Подсудимый Делоне, есть ли у вас какие-нибудь просьбы к суду?

Д е л о н е : Нет, просьб у меня нет. Я хочу только, чтобы суд меня правильно понял. Всё, что я говорю сейчас, здесь, в зале суда, и все, что я заявил на следствии, я говорил и говорю не из желания «спасти свою шкуру». Я приложил все усилия к тому, чтобы дать возможно более объективную оценку своим действиям. А делать это было, граждане судьи, не так-то просто. Я — человек, занимающийся творчеством, и поэтому я особенно тяжело переношу условия Лефортова или института Сербского. Лишь с большим трудом мне удалось пробудить в себе самом волю к жизни, к творчеству. Конечно, не произойдет ничего особенно страшного, если я получу 3 года. Я, скорее всего, не помру и не покончу самоубийством. Но хватит ли у меня сил на творчество после выхода из лагерей? Я в этом не убежден. Вот один из судебных заседателей сказал здесь: «Что они могут дать людям, кучка оторванных от народа молодых поэтов и художников?» Я не хотел бы касаться этой темы, но здесь уже разговор не только обо мне, поэтому эти слова особенно обидны, и я возьму на себя смелость сказать, что и не справедливы. Многие крупные специалисты в области искусства не разделяют точки зрения гражданина судебного заседателя. Я никогда не требовал себе пьедестала, не кричал, что я гений, поэтому и не был смогистом. Но ведь то, что я обладаю определенным поэтическим дарованием, то, что я могу сказать что-то людям, это же не моя «идея-фикс», это установлено достаточно компетентными

людьми. Я не просил вызвать их в качестве свидетелей на этот процесс только потому, что здесь не идет речь о моих поэтических произведениях. Да, за последнее время я допустил несколько грубых ошибок. Одной из таких ошибок я считаю демонстрацию, но из этого вовсе не значит, что я ничего не могу сказать людям, что я опасен для общества.

Я считаю демонстрацию ошибкой не только в силу непродуманности лозунга: «Свободу Добровольскому, Галанскову и др.», но и потому, что, никогда не являясь поклонником таких мер, считал, что это не метод высказывания своей точки зрения. Именно желая предотвратить подобные инциденты, я и обращался в наши организации с просьбой о создании творческого дискуссионного клуба молодых. В силу обстоятельств я принял участие в демонстрации 22 января 1967 г. Теперь я еще больше убедился в правильности моей прежней точки зрения. Я сказал все и жду от вас, граждане судьи, справедливого решения.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА БУКОВСКОГО

1. 9. 1967

Я приношу благодарность моему защитнику и моим товарищам.

Готовясь к суду, я ожидал, что суд полностью выявит все мотивы действий обвиняемых, займется юридическим анализом дела. Ничего этого суд не сделал. Он занялся характеристикой обвиняемых — между тем, хорошие мы или плохие, это не имеет отношения к делу.

Я ожидал от прокурора детального разбора «беспорядка», который мы произвели на площади: кто кого ударил, кто кому наступил на ногу. Но и этого не последовало.

Прокурор в своей речи говорит: «Я вижу опасность этого преступления в его дерзости».

Судья: Подсудимый Буковский, почему вы цитируете речь обвинителя?

Буковский: Надо мне — я и цитирую. Не мешайте мне говорить. Поверьте, мне и так нелегко говорить, хотя внешне моя речь идет плавно. Итак, прокурор считает наше выступление дерзким. Но вот передо мной лежит текст советской Конституции: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом... г) свобода уличных шествий и демонстраций». Для чего внесена такая статья? Для первомайских и октябрьских демонстраций? Но для демонстраций, которые организует государство, не нужно было вносить такую статью — ведь и так ясно, что этих демонстраций никто не разгонит. Нам не нужна свобода «за», если нет свободы «против». Мы знаем, что демонстрация протеста — это мощное оружие в руках трудящихся, это неотъемлемое право всех демократических государств.

Где отрицается это право? Передо мной лежит «Правда» от 19 августа 1967 г., сообщение из Парижа. В Мадриде происходил суд над участниками первомайской демонстрации. Их судили по новому закону, который недавно принят в Испании и предусматривает тюремное заключение для участников демонстрации от полутора до трех лет. Я констатирую трогательное единодушие между фашистским испанским и советским законодательством.

С у д ь я : Подсудимый, вы сравниваете вещи несравнимые: действия фашистского правительства Испании и Советского государства. В суде недопустимо сравнение советской политики с политикой иностранных буржуазных государств. Держитесь ближе к существу обвинительного заключения. Я возражаю против злоупотребления предоставленным вам словом.

Б у к о в с к и й : А я возражаю против нарушения вами моего права на защиту.

С у д ь я : Вы не имеете права что-либо возражать. В судебном процессе всё подчиняется председательствующему.

Б у к о в с к и й : А вы не имеете права меня перебивать. Я не уклонился от существа моего дела. На основании статьи 234 УПК я требую, чтобы это мое возражение было занесено в протокол.

С у д ь я (секретарю): Занесите, пожалуйста.

Б у к о в с к и й : Прокурор говорил голословно. Но об этом — потом. Никто из выступавших не привел примеров грубого нарушения общественного порядка на площади Пушкина — кроме одного свидетеля, но стоит ли о нем говорить, если его фамилия — Безобразов.

С у д ь я : Подсудимый, прекратите недопустимый тон. Какое право вы имеете оскорблять свидетеля? И потом, вы говорите, точно на митинге, обращаясь к публике. Обращайтесь к суду.

Б у к о в с к и й : А я его не оскорбляю. Рассмотрим дело по существу. Люди в штатском, без повя-

зок, называли себя дружинниками — но только из их действий можно было понять, что они дружинники. Дружинники играют серьезную положительную роль в борьбе с преступностью — ворами, хулиганами и т. п. — при этом они всегда носят повязки. И никакой инструкцией не предусмотрено право дружинников разгонять политические демонстрации. Кстати, об инструкции — где она? Она — не закон, но если она обязательна и достаточно ссылки на нее в суде, — а она ведь была применена, люди были задержаны, и на них завели дело — тогда она должна быть оглашена в суде. Но эта инструкция во всяком случае требует, чтобы дружинники при исполнении своих обязанностей носили повязки. А они нам даже не показали своих документов. Когда ко мне подбежал выступавший здесь свидетелем дружинник *Клейменов*, он крикнул: «Что это за гадость здесь поразвесили? Сейчас как дам в глаз!»

Безусловно, все это было подготовлено: люди на площади знали заранее о нашей демонстрации. В самом деле: милиционер *Грузинов* показал, что он не заметил на площади никакого нарушения общественного порядка и не подходил к демонстрантам до тех пор, пока некий человек в штатском не приказал ему задержать одного из нас. Может быть, этот человек был дружинником? Нет. Как мог бы опытный милиционер не опознать дружинника, если бы у него была повязка? Так кто же мог быть этот человек? С какой стати *Грузинов* стал бы выполнять просьбу частного лица о задержании другого, не нарушившего общественный порядок? Значит, он был заранее проинструктирован и, видимо, достаточно конкретно.

Полковник КГБ *Абрамов* прибыл на площадь, наверно, не как частное лицо. Вряд ли он там гулял (да и по его действиям непохоже). Напрасно суд не вызвал его в качестве свидетеля — он мог бы сообщить по делу вещи не менее важные, чем многие другие свидетели.

Заметьте — я до сих пор не употреблял этого слова, но тут похоже на провокацию. В самом деле, как еще назвать это? Представьте себе, что вы 1 мая идете по улице с первомайскими лозунгами и какой-нибудь гражданин в штатской одежде, без повязки, отнимает у вас этот лозунг. Тут ясно, извините за выражение, что он может схлопотать по шее. По шее. Не на это ли рассчитывали дружинники и не затем ли прибыл полковник Абрамов на площадь Пушкина? Не за тем ли, чтобы вовремя уловить момент, когда возникнет повод для уголовного дела? Тут интересны слова полковника Абрамова, которые он сказал, когда Дело не привели в штаб дружины: «Делоне, если бы мы вовремя не прекратили эту демонстрацию, вы, молодой поэт и интеллигентный юноша, оказались бы в тюрьме с ворами и хулиганами».

А зачем нужно было производить столько обысков? Зачем обыскивать нарушителя общественного порядка? Чтобы отобрать у него предмет, посредством которого он нарушил этот порядок? У нас нечего было отбирать дома — мы всё принесли на площадь. Чего же было искать? Бульжников, которые мы должны были кидать? Ну, еще можно было бы понять, если бы обыски были произведены только у нас. Однако обыски были произведены даже у свидетелей и у посторонних лиц (перечисляет фамилии). Зачем это? Можно понять: обыски дают возможность следить, искать других участников и т. п. Однако немислимо, чтобы такое число обысков было произведено по случаю нарушения общественного порядка на площади. Зачем нам предъявляют для опознания фотографии людей, не имеющих отношения к демонстрации? Все это можно понять только в том случае, если обысками руководил КГБ.

Органы государственной безопасности выполняют в нашей стране полицейскую роль. О какой демократии можно говорить, когда за нами непрерывно следят? Пусть ловят шпионов. Зачем нас допрашивают

о наших знакомых, о том, что мы делали два-три года назад и т. п.?

Я признаю важную роль органов КГБ в борьбе за безопасность государства. Но причем они в данном случае? Здесь не было внешних врагов. Может быть, думали о внутренних? Оснований для вмешательства органов госбезопасности не было, но посмотрим, как велось наше дело.

Зачем было его тянуть семь месяцев? И кстати, почему нас сразу поместили в следственный изолятор КГБ? Я не стану отвлекать внимание суда описанием условий изолятора — но ведь есть и разница. Здесь в изоляторе — по-двое, по-трое в камере, а в обычных тюрьмах по 7-8 человек. Если приходится сидеть много месяцев, это сказывается на психическом состоянии человека. К тому же, там совсем другие условия с питанием, передачами. Зачем было тянуть дело семь месяцев? Я вижу только одно объяснение: отыскать какой-нибудь повод, чтобы замести следы этого неблагоприятного дела. Когда же затягивать стало уже невозможно, процесс над нами сделали настолько закрытым, чтобы никто не смог сюда проникнуть и убедиться в беззаконии.

Следствие по нашему делу начала прокуратура, но постановление о моем аресте было подписано капитаном КГБ *Смеловым*. На четвертый месяц наше дело было передано из прокуратуры в КГБ. Это процессуальное нарушение: статья 125 УПК РСФСР точно определяет круг дел, входящих в компетенцию КГБ. 190-й статьи там нет. Более того: в тот же день, что Указ о введении этой статьи, был принят другой Указ, по которому статья 126 УПК была дополнена указанием, что дела по статье 190 должны рассматриваться органами прокуратуры. А если уж КГБ нашел, что в нашем деле имеются основания к расследованию по статье 70, — тогда он имел право начать расследование. Но с чего он должен был начать? С предъявления обвинения. Он этого не сделал. Может быть, не было расследования по статье

70? Нет, было. Судя по допросам свидетелей, оно проводилось. И в деле есть документ, доказывающий, что расследование было: постановление о прекращении расследования по статье 70. Но нельзя прекратить то, что не начиналось. *(Перечисляет нарушенные статьи Уголовно-процессуального кодекса.)*

Судья: Подсудимый Буковский, нас это не интересует. Держитесь ближе к обвинительному заключению. Какое значение то, что вы говорите, может иметь для разрешения вашего дела по существу?

Буковский: Я уже говорил о том, что вы не имеете права меня перебивать. А отношение очень простое: вы думаете, легко мне было в изоляторе понимать, что меня обвиняют и ведут следствие по статье 70, а мне ее не предъявляют? Все эти незаконные действия КГБ прокурор и пытается прикрыть, голословно поддерживая обвинение по статье 190³ УК. В ходе следствия нарушалась законность, и мой долг — сказать об этом, поэтому я и говорю.

Мы выступили в защиту законности. Непонятно, почему прокуратура, в чьи обязанности входит охранять права граждан, санкционирует подобные действия дружинников и КГБ?

Теперь я должен объяснить наши лозунги. Демонстрация была проведена с требованием освобождения Галанскова, Добровольского, Лашковой и Радзиевского. Но ведь они еще не осуждены. А что, если окажется, что они невиновны? Вот Радзиевский-то уже освобожден из-под стражи. В чем же тогда преступность нашей демонстрации?

Теперь относительно второго лозунга. Мы выступили не против законов. Мы требовали пересмотра Указа от 16 сентября и статьи 70 УК. Разве это противозаконные действия? Мы протестовали против антиконституционного Указа. Разве это антисоветские требования? Не одни мы находим Указ антиконституционным — группа представителей интеллигенции, в том числе академик Леонтович, писатель Каверин и другие, обратились с подобным

же требованием в Президиум Верховного совета СССР.

Разве Конституция — не основной закон нашей страны? Читаю полный текст статьи 125:

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

- а) свобода слова;
- б) свобода печати;
- в) свобода собраний и митингов;
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц»,

— да, улиц, гражданин прокурор, —
«средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления».

Теперь о 70-й статье. Мы требовали ее пересмотра, потому что она дает возможность слишком широкого толкования. Вот ее текст:

«Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, либо совершения отдельных особо опасных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление и хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет».

В статье 70 соединены столь разнородные вещи, как агитация и пропаганда, направленные на совершение особо опасных государственных преступлений, и, с другой стороны, клеветнические измышления против общественного строя. Диапазон санкций тоже слишком велик — от полугода до семи лет. В научно-практическом комментарии эта статья разбита на четырнадцать пунктов. По-видимому, именно в этом направлении ее и следовало бы пересмот-

реть, сделав более определенными и санкции. Это уменьшило бы произвол. Правда, статья 190¹ — уже некоторый шаг в этом направлении, некоторая тенденция к пересмотру наблюдается, но этого недостаточно для полного согласования с требованиями Конституции.

С у д ь я : Подсудимый Буковский, мы же юристы, и все присутствующие в зале тоже в седьмом классе учились. Нам понятно, что вы, только теперь столкнувшись с проблемами права, заинтересовались ими. Мы приветствуем этот интерес, но здесь об этом так много говорить не нужно. Поймите: нам же нужно решить вопрос о вашей виновности или невиновности, решить вашу судьбу. Возможно, вы поступите на юридический факультет МГУ — там на семинарах вы будете обсуждать эти вопросы уже на более высоком уровне.

Б у к о в с к и й : Нет, я туда не поступлю. Я возражаю прокурору, который обвиняет нас в юридической безграмотности и несерьезности, — нет, я знаю законы и говорю о них серьезно. А если то, о чем я говорю, настолько хорошо известно — тем более непонятно, почему прокурор усматривает преступление в критике законов.

В преамбуле статьи 125 Конституции говорится: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом...» Совершенно ясно, что ни юридически, ни грамматически нельзя толковать эту преамбулу как означающую, что перечисленные в этой статье свободы, включая свободу митингов и демонстраций, разрешены только при условии, что они осуществляются в целях, которые указаны в этой преамбуле. Свобода слова и печати есть в первую очередь свобода критики. Хвалить правительство и так никто никогда не запрещал. Если внесены в Конституцию статьи о свободе слова и печати, то имейте терпение выслушивать критику. Как называются страны, в которых запрещается

критиковать правительство и протестовать против его действий? Может быть, капиталистическими? Нет, мы знаем, что в буржуазных странах существуют коммунистические партии, которые ставят себе целью подрыв капиталистического строя. В США коммунистическая партия была запрещена — однако Верховный Суд объявил это запрещение антиконституционным и восстановил коммунистическую партию во всех ее правах.

Судья: Подсудимый Буковский, это не имеет отношения к обвинительному заключению по вашему делу. Поймите, что суд не правомочен решать те вопросы, о которых вы говорите. Мы должны не обсуждать, а исполнять законы.

Буковский: Опять вы меня перебиваете. Поймите, мне все-таки трудно говорить.

Судья: Я объявляю перерыв на пять минут.

Буковский: Я об этом не просил, я уже скоро закончу свое последнее слово. Вы нарушаете непрерывность последнего слова.

Судья объявляет перерыв.

(После перерыва)

Судья: Подсудимый Буковский, продолжайте ваше последнее слово, но я вас предупреждаю, что, если вы будете продолжать критиковать законы и деятельность КГБ вместо того, чтобы давать объяснения по существу, я вынуждена буду вас прервать.

Буковский: Поймите, что наше дело очень сложное. Нас обвиняют в критике законов — это дает мне и право и основание обсуждать эти основные юридические вопросы в моем последнем слове.

Но есть и другая тема. Это вопросы честности и гражданского мужества. Вы — судьи, в вас предполагаются эти качества. Если у вас действительно есть честность и гражданское мужество, вы вынесете единственно возможный в этом случае — оправ-

дательный приговор. Я понимаю, что это очень трудно...

Прокурор (*перебивает*): Я обращаю внимание суда на то, что подсудимый злоупотребляет правом на последнее слово. Он критикует законы, дискредитирует деятельность органов КГБ, он начинает оскорблять вас — здесь совершается новое уголовное преступление. Как представитель обвинения, я должен это пресечь и призываю вас обязать подсудимого говорить только по существу предъявленного ему обвинения, иначе можно до бесконечности слушать речи с любой критикой законов и правительства.

Судья: Подсудимый Буковский, вы слышали замечание прокурора. Я разрешаю вам говорить только по существу обвинительного заключения.

Буковский (*прокурору*): Вы обвиняете нас в том, что мы своими лозунгами пытались дискредитировать КГБ, но сам КГБ уже настолько себя дискредитировал, что нам нечего добавить. (*Суду.*) Я говорю по существу. Но того, что хочет услышать от меня прокурор, он не услышит. Состав преступления в нашем деле нет. Я абсолютно не раскаиваюсь в том, что организовал эту демонстрацию. Я считаю, что она сделала свое дело, и когда я окажусь на свободе, я опять буду организовывать демонстрации, конечно, опять с полным соблюдением законов. Я сказал всё.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МИХАИЛА САДО

(Выдержки из выступления)

3. 12. 1967

Суд над М. Ю. Садо и другими руководителями ВСХСОН проходил в Ленинграде. По статье 72 УК РСФСР (антисоветская организация) Садо был приговорен к 13 годам заключения, из них — к 5 годам тюрьмы.

О ленинградском процессе ВСХСОНовцев см. «Посев» № 50/1967, № 1/1968, № 11/1972; «Хронику текущих событий» № 1 (Спецвыпуск «Посева» № 1). — Ред.

...Граждане судьи!

Я обвиняюсь в очень тяжком преступлении — в измене родине. Эту измену я совершил, как следует из материалов следствия, организовав вместе с сидящими здесь моими соратниками заговор с целью свержения советской власти и установления буржуазного режима. Для этого была организована антисоветская организация «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа». В чем, на мой взгляд, особенность нашего дела и где ключ к разгадке преступления? Если все, что мы делаем, можно назвать преступлением.

Возрастной ценз лиц, привлеченных к уголовной ответственности по данному делу, от 18 до 43 лет. Ни один из нас не судим ранее. Из 28 участников организации — двадцать имеют высшее образование и один — среднее. Всё это дети советских рабочих, служащих, интеллигенции, офицеров. Все родились в России, учились в советской школе, в советских вузах.

Что же случилось с нами? Что заставило нас, каждого в отдельности, стать на путь борьбы с советской властью?

Я думаю, что прежде всего мне надо рассказать о себе.

...Родился в 1934 году в Ленинграде в семье чистильщика обуви. Родители мои были неграмотными. По национальности я ассириец. Вы, конечно, знаете, что ассирийцы осели в России в основном в период первой мировой войны 1914-18 годов и, тесно связанные, как христиане, с единоверцами-русскими, обрели здесь для себя родину. И я, как в свое время Пушкин, ведущий свой род из Эфиопии, не представляю себя без России, без русского языка, без культуры русской...

Россия для нас, ассирийцев, стала второй, а скорее всего, единственной родиной. К сожалению, родина эта подчас оборачивалась для нас злой мачехой. Распространившиеся по стране в 1937 году необоснованные репрессии захватили и ассирийцев. Почти вся интеллигенция и большинство мужчин старше 30 лет были арестованы и в основном истреблены. Были закрыты наши школы, прекратилось издание книг, даже газеты, между прочим, единственной. Репрессии коснулись и нашей семьи. Был арестован отец, два маминых брата и мой дед. Остался жив только отец, отсидевший 16 лет. В 1956-57 годах все они были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Я опущу рассказ о тяготах своей жизни, о смерти матери, ибо задача моя — не разжалобить суд, а обнажить перед вами факты, одни только факты.

В школу я поступил поздно. Причина — война, ленинградская блокада. В первый класс я пришел только в 1944 году, в седьмом — вступил в комсомол, в 1952 году, увлекшись спортом, стал чемпионом Ленинграда по классической борьбе. К концу школьного образования почувствовал повышенный интерес к истории и литературе. К остальным наукам был равнодушен, тем более, что всё ведь тогда было более просто. По биологии, например, нас учили, что вся эта наука держится на четырех столпах: Тими-

рязов, Вильямс, Мичурин, Лысенко. Помню также, что ветвистая пшеница академика Лысенко обещала нам сказочные урожаи с гектара. Но я этих урожаев так и не видал, хотя часто бывал в колхозах Кубани и Украины. На уроках литературы нас кормили Сталиным в огромных порциях, и знакомство с литературой народов СССР сводилось к изучению произведений безграмотного акына Джамбула и такого же ашуга Сулеймана Стальского.

На уроках истории нас уверяли, что без Сталина Октябрьская революция победить не смогла бы, и всем, буквально всем, даже жизнью, мы обязаны только Сталину. Поэтому, когда Сталин умер, я был уверен, что со дня на день произойдет что-то невероятное. Я никогда не видал Иосифа Виссарионовича живым. Мне хотелось увидеть его хотя бы мертвым. С несколькими школьниками-товарищами я сбежал из дому, уехав на похороны вождя в Москву. Впечатление от этих похорон, где люди давили друг друга, как в преисподней, осталось у меня на всю жизнь.

Осенью 1954 года я был призван в армию и попал в парашютно-десантные войска. Участвовал во множестве учений. Был поднят по тревоге во время венгерских событий. Видел атомный взрыв.

Во время учений, которые проходили в Ярославской и Костромской областях, часто бывал в деревнях и всегда поражался безысходной бедностью, нищетой их.

Церкви, часовни, монастыри были в запустении, разваливались. Во многих церквях размещались склады горючего, различные кладовые, мастерские. У меня это выливалось в нестерпимую боль за поругание русской культуры. В 1956 году нам, солдатам, было прочтено Постановление ЦК о культе личности Сталина, в 1957 году, когда я уже вернулся в Ленинград, повсюду только и говорили об антипартийной группировке Маленкова, Молотова, Кагановича и других. Потом, помню, состав нового Полит-

бюро приезжал в Ленинград на празднование 250-летия города.

Вместе со многими ленинградцами я стоял на Невском у Дома книги и приветствовал этот кортеж. На душе было беспокойно: ведь анафеме предавались люди, которые долгие годы были рядом со Сталиным, имена которых составили нашу историю.

«Что же происходит?» — задавал я себе вопрос. Но разобраться было некогда. Надо было сдавать экзамены в университет.

В студенческой среде все новое, происходящее в стране после разоблачения культа, воспринималось эмоционально и проявляло себя в бурном самовыражении. Тогда захлеб читались Ремарк и Хемингуэй, книга Дудинцева «Не хлебом единым», диспуты по которой носили очень бурный и острый характер.

Насколько студенты болезненно воспринимали культ личности, свидетельствует то, что любой диспут в конце концов сводился к проблеме культа, к его критике и очень часто выливался в требование: сурово наказать виновников репрессий.

Такая литература, как «Письмо к Сталину» Раскольникова, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына и т. д., не могла не производить впечатления. Лично я был захвачен этой трагедией. Трагедией эпохи. К сожалению, мы все скоро увидели, что это не конец трагедии, а только ее начало. Вслед за культом Сталина уже начинался культ Хрущева.

И положение в стране еще более ухудшилось.

Рабство, авантюризм, бесхозяйственность, несправедливость так и кричали на каждом углу.

Промышленные производства были захламлены. Перерасход сырья стал обычным явлением. Хищничество, взяточничество приняла колоссальные размеры. В реках гибла рыба, в лесах — зверье, сельское хозяйство являло картину полнейшего разгрома. Колхозники зарабатывали в месяц по 25-30 рублей, а труд их был ужасающим. Я сам видел, как эти

бедные люди с утра до ночи ползали на четвереньках под дождем, убирая картофель. И тем не менее, картофельные поля часто оставались необработанными. А в это время Хрущев со своей семьей разъезжал по миру, произносил идиотские речи, которых не мог не стыдиться ни один уважающий себя русский. Недовольство росло. Произошло повышение цен на мясо и молочные продукты, пшеница стала покупаться за рубежом. Это Россией-то! Последовали авантюры с денежной реформой, государственными займами.

В стране создавалась напряженная обстановка, приведшая к массовым выступлениям против советской власти в Новочеркасске, Караганде, Тбилиси, Краснодаре и других местах.

Я был уверен, что мы стояли тогда накануне внутренней катастрофы, которая могла разразиться стихийно в любой момент и бросить страну во внутренний хаос.

Скажите, граждане судьи! Что в этой ситуации должен был делать сын своего отечества? Россия — мое отечество. Моя мать. Мог ли я спокойно смотреть, как гибнет моя мать?

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА

12. 1. 1968

Суд над Ю. Т. Галансковым, А. И. Гинзбургом, А. А. Добровольским и В. И. Лашковой проходил в Москве в январе 1968 г. По статье 70 УК РСФСР Галансков был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима, Гинзбург — к 5 годам лагерей строгого режима, Добровольский — к 2 годам лагерей строгого режима и Лашкова — к 1 году лагерей строгого режима.

О процессе Галанскова-Гинзбурга см. «Посев» № 2/1968; «Хронику текущих событий» № 1 (Спецвыпуск «Посева» № 1); книги: «Процесс четырех» (Амстердам, 1971, составитель П. Литвинов), «Процесс цепной реакции» (изд. «Посев», 1971). — Р е д.

Я хочу начать свое последнее слово с заявления о том, что в части обвинения, касающегося статьи 88, ч. 1. УК РСФСР, я себя виновным не признаю.

Существует магнитофонная запись моего разговора со следователем. Во время этого разговора я поправил следователя, сказавшего, что я продал доллары. Я сказал ему тогда и утверждаю сейчас, что я хотел не продать, а обменять доллары официальным путем. Между прочим, и в показаниях Ентина и Борисовой говорится, что я лично не испытывал никакой потребности в обмене долларов, — Ентин сам предложил мне сделать это. Так как я не истратил денег, полученных в результате обмена, даже пятнадцати копеек себе на пирожок, а отдал их все Добровольскому, я не признаю себя виновным по статье 88.

В части обвинения по статье 70 УК РСФСР, касающейся связи с антисоветской эмигрантской организацией НТС, я также не признаю себя виновным. Ни из моих показаний, ни из показаний Добровольского,

положенных в основу этого обвинения, никак не следует, что я в этом виновен. Так я считал и так я буду считать.

Обвинение представило здесь много ценных и ранее никому не известных данных об НТС. Я понимаю, что для органов КГБ эта информация представляет большой интерес. Мне тоже было интересно услышать все это. Но, по моему мнению, первая часть выступления прокурора, посвященная рассмотрению этого вопроса, не имеет существенного отношения к делу и, я надеюсь, не способна значительно повлиять на решение суда.

Мне предъявлено обвинение, которое является угрожающим по своему социально-политическому комплексу. Но меня запугать трудно.

Действительно, мое имя известно на Западе давно. Меня знают как поэта, а также в связи с моей демонстрацией у американского посольства по поводу агрессии США в Доминиканской республике. Но, во-первых, я не тщеславен и никогда к этой известности не стремился, а во-вторых, этот факт сам по себе не свидетельствует о каких бы то ни было связях с какой бы то ни было зарубежной антисоветской организацией.

Меня трудно запугать, потому что правовые нормы в нашей стране интенсивно принимают свой правомерный характер. Марксистский потенциал партии все более восстанавливается. Октябрьская революция, пережившая, подобно всякой другой революции, период диктатуры, оказалась достаточно сильной для того, чтобы не быть побежденной этим периодом и сохранить свою революционную пролетарскую сущность.

Что касается чисто правовых моментов дела, то жизнь и следствие научили меня правильно распределять свои силы. Я не вижу сейчас причин доказывать свою невиновность в плане предъявленного мне обвинения, так как большая часть его абсолютно необоснованна и не соответствует действительности. Я

призываю суд к сдержанности в своих решениях, касающихся Добровольского, меня и Л а ш к о в о й. Что касается Г и н з б у р г а, то его невиновность настолько ясна, что решение суда по этому поводу не может вызывать сомнений.

В заключение я хотел бы сказать о социальной проблематике журнала «Феникс». Первоначально «Феникс» был задуман мной как пацифистский журнал, и в том, что впоследствии мои намерения изменились, решающую роль сыграл процесс С и н я в с к о г о и Д а н и э л я.

В материалах, которые я просил приобщить к делу, представлена моя точка зрения относительно хода этого процесса. Я просил их передать в ЦК КПСС и в Идеологическую комиссию. Я думаю, что вышеназванные организации заинтересуются этими материалами и что это окажет определенное влияние на дальнейшую судьбу Синявского и Даниэля.

Я считаю, что пересмотр этого дела сыграет большую роль в доказательстве того, что моральный потенциал социализма огромен.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

12. 1. 1968

Я хочу начать свое последнее слово с выражения признательности за то, что с меня снято обвинение в личной нечестности — обвинение в том, что я, написав *Косыгину* письмо, в котором выражалась моя точка зрения на процесс Синявского и Даниэля, не отправил это письмо по адресу. Это обвинение было оскорбительным.

Затем, на этом суде много говорилось об НТС. Я думаю, что мнение государственного обвинителя по поводу этой антисоветской эмигрантской организации никем не оспаривается. Я только хочу поблагодарить государственного обвинителя за то, что он отделил нас от тех, кто убивал, резал, истреблял евреев, за то, что эти обвинения не были направлены по нашему адресу.

А теперь я перейду к делу. На этом процессе 9 января 1968 года я уже пытался рассказать о своих взглядах и о мотивах, побудивших меня к созданию сборника материалов по делу Синявского и Даниэля. Сейчас я не буду повторять всего этого. Я хочу только еще раз коротко сказать об общественной реакции на суд над Синявским и Даниэлем, об обстановке, в какой я составлял свой сборник, положенный ныне в основу обвинения против меня.

Когда 9 января я попробовал говорить об этом и сравнил общественную реакцию во всем мире на процесс над Синявским и Даниэлем с реакцией на преследования греческих демократов, в зале раздался смех, больше похожий на рычанье. Тем не менее, я снова буду говорить об этом. Прокурор долго здесь убеждал нас в том, что НТС не выступает против агрессии во Вьетнаме. Какое это имеет отношение к сборнику материалов по делу Синявского и Даниэля?

Я могу сослаться на первые девяносто страниц лежащего перед вами сборника. Там есть, например, протест, подписанный в числе других Норманом, который лежит сейчас со штыковыми ранениями, полученными у Пентагона во время демонстрации против американской агрессии во Вьетнаме. В этом же сборнике есть протесты, подписанные многими другими прогрессивными деятелями мира. Государственный обвинитель, быть может, и прав, говоря об отношении НТС к войне во Вьетнаме. Но это ни в какой степени не связано со сборником, в котором я собрал все доступные мне материалы по делу Синявского и Даниэля, для того, чтобы объективно представить картину этого суда, реакцию мировой общественности и просить о пересмотре этого дела.

Меня обвиняют в том, что я включил в свой сборник материалы, которые суд считает антисоветскими. Я говорю о листовке, подписанной «Сопротивление» и о «Письме к старому другу». К сожалению, защитники почти не пытались опровергнуть это мнение обвинения суда. Я вынужден говорить об этом, потому что если суд признает эти документы криминальными, то в дальнейшем они не могут быть никем защищены, как это случилось со статьей Синявского «Что такое социалистический реализм». Именно поэтому я, как составитель этого сборника, считаю своей обязанностью говорить об этих двух документах.

Сначала о листовке «Сопротивление». О чем в ней идет речь, суду известно. Факты, изложенные в ней, соответствуют действительности, что подтвердили свидетели, например, Кушев. Не было ни одного свидетельского показания о том, что эти факты — выдумка или клевета. В ходе судебного разбирательства неоднократно цитировалась эта листовка, в частности слова: «свирепость псов только подчеркивает наклонности дрессировщиков». В этой листовке речь не идет о советской власти в целом. В ней говорится лишь о тех сотрудниках органов КГБ, ко-

торые разогнали митинг гласности, а затем исключили из университета сорок студентов, принимавших участие в этом митинге. Эти действия кажутся мне незаконными. Если суд находит их правомерными, за это несет ответственность суд. Я уже давал по этому поводу объяснения и говорил, что, с моей точки зрения, митинг в защиту Синявского и Даниэля был совершенно законен и исключать из университета его участников никто не имел права. При этом все действия сотрудников КГБ совершались в грубой и недопустимой форме и они темным пятном ложатся на репутацию этой почтенной организации. Таким образом, я считаю, что эта листовка, может быть, резка, но не направлена против советской власти, а лишь против действий отдельных работников КГБ. Кроме того, в этой листовке не содержится никакой клеветы, нет искажения фактов, в ней лишь ставится упрек представителям власти за одно конкретное действие. Я прошу суд исключить этот документ из разряда антисоветских.

Теперь о «Письме к старому другу». Я уже говорил, что не знаю, кто его автор, но думаю, что это человек, переживший ужасы сталинских концлагерей. Он пишет: «И ты, и я — мы знаем сталинское время». И об этом времени автор говорит в резкой форме. Но это недостаточное основание для объявления этого документа антисоветским. В речи председателя КГБ Андропова, посвященной 50-летию КГБ говорится: «Мы не должны забывать то время, когда к руководству нашими органами пробрались политические авантюристы». К тому же призывает автор «Письма к старому другу». Здесь приводилась и другая цитата из этого письма: «Горький выдвинул людоедский лозунг — если враг не сдается, его уничтожают». Во-первых, это относится к тому времени, о котором я только что говорил. Во-вторых, критика одного, даже крупного, писателя, не является критикой всей власти. Человек, переживший ужасы этого времени, не может не волноваться, когда ему вдруг

кажется, что в теперешней жизни он видит рецидивы прошлого, и тогда выражение этого беспокойства в резкой форме вполне правомерно. Я утверждаю, что в «Письме к старому другу» не содержится клеветы на советский строй и призыва к его свержению, и прошу суд не квалифицировать это произведение как антисоветское.

По поводу пункта обвинения, связанного с передачей мною Губанову нескольких газетных вырезок антисоветского содержания, моим адвокатом была приведена полная и основательная аргументация, и я не буду ее повторять.

По поводу того, что сборник материалов по делу Синявского и Даниэля, составленный мной, был с моего ведома передан Галансковым в НТС, тоже достаточно убедительно и аргументированно доказано, что эта версия не только не подтвердилась, но и противоречит фактам, выявленным в ходе судебного следствия.

Итак, меня обвиняют в том, что я составил тенденциозный сборник материалов по делу Синявского и Даниэля. Я не признаю себя виновным. Я поступил так, потому что убежден в своей правоте. Мой адвокат просил для меня справедливого приговора. Я знаю, что вы меня осудите, потому что ни один человек, обвинявшийся по статье 70, еще не был оправдан. Я спокойно отправляюсь в лагерь отбывать свой срок. Вы можете посадить меня в тюрьму, отправить в лагерь, но я уверен, что никто из честных людей меня не осудит. Я прошу суд об одном — дать мне срок, не меньший, чем Галанскову. (В зале смех, крики: «Больше!» «Больше!»)

Во время речи Гинзбурга судья Миронов неоднократно прерывал его, делал ему замечания.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЛАРИСЫ БОГОРАЗ

11. 10. 1968

Суд над демонстрантами на Красной площади (25 августа 1968 г.), выступившими против оккупации Чехословакии, проходил в Москве в октябре 1968 г. Старший научный сотрудник Л. Богораз была приговорена к ссылке на 4 года, физик П. Литвинов — к ссылке на 5 лет, поэт В. Делоне — к 2,5 годам лишения свободы, рабочий В. Дремлюга — к 3 годам лишения свободы, лингвист К. Бабицкий — к ссылке на 3 года.

О процессе демонстрантов на Красной площади см. «Посев» № 11/1968; «Хронику текущих событий», выпуск 4 (Спецвыпуск «Посева» № 1); книгу Н. Горбаневской «Полдень» (изд. «Посев», 1970). — Р е д.

Сначала я вынуждена заявить нечто, к моему последнему слову не относящееся: в зал суда не допущены мои друзья и родственники — мои и других подсудимых. Тем самым нарушена ст. 18 УПК, гарантирующая гласность судебного разбирательства.

В последнем слове я не имею возможности и не намерена — здесь и сейчас — обосновывать свою точку зрения по чехословацкому вопросу. Буду говорить только о мотивах своих действий. Почему я, «будучи несогласна с решением КПСС и Советского правительства о вводе войск в ЧССР», не только подала заявление об этом в своем институте, но и вышла на демонстрацию на Красную площадь?

Судья: Не говорите о своих убеждениях. Не выходите за рамки судебного разбирательства.

Богораз: Я не выхожу за рамки судебного разбирательства. Был такой вопрос у прокурора. В ходе судебного разбирательства был поставлен вопрос о мотивах, и я имею право остановиться на

этом. Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка.

Я люблю жизнь и ценю свободу, и я понимала, что рискую своей свободой и не хотела бы ее потерять.

Я не считаю себя общественным деятелем. Общественная жизнь — для меня далеко не самая важная и интересная сторона жизни. Тем более, политическая жизнь. Чтобы мне решиться на демонстрацию, мне пришлось преодолеть свою инертность, свою неприязнь к публичности.

Я предпочла бы поступить не так. Я предпочла бы поддержать моих единомышленников — известных людей. Известных своей профессией или по своему положению в обществе. Я предпочла бы присоединить свой безымянный голос к протесту этих людей. Таких людей в нашей стране не нашлось. Но ведь мои убеждения от этого не изменились.

Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать. Для меня промолчать — значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать — значило для меня солгать. Я не считаю свой образ действий единственно *правильным*, но для меня это было единственно *возможным* решением.

Для меня мало было знать, что нет моего голоса «за», — для меня было важно, что не будет моего голоса «против».

Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать: я против, я несогласна. Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства, точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства, точно так же, как на весь наш народ ложится ответственность за сталинско-бериевские лагеря, за смертные приговоры, за...

Прокурор: Подсудимая выходит за рамки обвинительного заключения. Она не вправе говорить о действиях советского правительства, советского народа. Если это повторится, я прошу лишить подсудимую Богораз последнее слово. Суд имеет на это право по закону.

Адвокат Каминская: Происходит некоторое недопонимание того, что говорит Богораз. Она говорит о мотивах своих действий. Когда в совещательной комнате суд будет принимать решение, он должен будет учитывать эти мотивы, и вы должны их выслушать.

Адвокат Каллистратова: Я присоединяюсь к Каминской. От себя хочу добавить: прокурор неправ, когда говорит о возможности лишить подсудимого права на последнее слово. Такого нет в кодексе. В законе сказано лишь, что председательствующий имеет право исключить из речи подсудимого элементы, не имеющие отношения к делу.

Судья: Заявление прокурора считаю основательным. (К Богораз): Вы все время пытаетесь говорить о своих убеждениях. Вас судят не за ваши убеждения, а за ваши действия. Рассказывайте о конкретных действиях. Суд делает вам замечание.

Богораз: Хорошо, я учту это замечание. Мне тем более легко его учесть, что пока я даже не коснулась моих убеждений и ни слова не говорила о моем отношении к чехословацкому вопросу. Я исключительно говорила о том, что побудило меня к действиям, в которых я обвиняюсь.

У меня было еще одно соображение против того, чтобы пойти на демонстрацию (я настаиваю на том, что события на Красной площади должны называться именно этим словом, как бы их ни именовал прокурор). Это — соображение о практической бесполезности демонстрации, о том, что она не изменит ход событий. Но я решила, в конце концов, что для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности.

На вопрос о том, признаю ли я себя виновной, я ответила: «Нет, не признаю». Сожалею ли я о случившемся? Полностью или частично? Да, частично сожалею. Я крайне сожалею, что рядом со мной на скамье подсудимых оказался Вадим Делоне, характер и судьба которого еще не определились и могут быть искалечены лагерем. Остальные подсудимые — вполне взрослые люди, способные сделать самостоятельный выбор. Но я сожалею, что талантливый, честный ученый Константин Бабицкий будет надолго оторван от семьи и от своей работы. (Из зала: «Вы о себе говорите!»)

Судья: Требую немедленно прекратить выкрики! В случае необходимости буду немедленно удалять из зала. (К Богораз): Суд делает вам третье замечание. Говорите только о том, что касается лично вас...

Богораз (резко): Может, представить вам конспект моего последнего слова? Не понимаю, почему я не могу говорить о других подсудимых.

Прокурор закончил свою речь предположением, что предложенный им приговор будет одобрен общественным мнением.

Суд не зависит от общественного мнения, а должен руководствоваться законом. Но я согласна с прокурором. Я не сомневаюсь, что общественное мнение одобрит этот приговор, как одобряло оно аналогичные приговоры и раньше, как одобрило бы любой другой приговор. Общественное мнение одобрит три года лагерей молодому поэту, три года ссылки талантливому ученому. Общественное мнение одобрит обвинительный приговор, во-первых, потому, что мы будем представлены ему как тунеядцы, отщепенцы и проводники враждебной идеологии. А во-вторых, если найдутся люди, мнение которых будет отличаться от «общественного» и которые найдут смелость его высказать, вскоре они окажутся здесь (указывает на скамью подсудимых). Общественное мнение одобрит расправу над мирной

демонстрацией, состоявшей из нескольких человек.

Вчера в своей защитительной речи, защищая свои интересы, я просила суд об оправдательном приговоре. Я и теперь не сомневаюсь, что единственно правильным и единственно законным был бы оправдательный приговор. Я знаю закон. Но я знаю также и судебную практику, и сегодня, в своем последнем слове, я ничего не прошу у суда.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПАВЛА ЛИТВИНОВА

11. 10. 1968

Я не буду занимать ваше время анализом материалов судебного следствия. Я себя виновным не признаю. Наша невиновность в действиях, в которых нас обвиняют, очевидна.

Тем не менее, мне так же очевиден ожидающий меня обвинительный приговор. Этот приговор я знал заранее — еще когда шел на Красную площадь.

Я совершенно убежден в том, что в отношении нас была совершена провокация сотрудниками органов государственной безопасности. Я видел слезку за собой. Свой приговор я прочитал в глазах человека, который ехал за мной в метро. Я видел этого человека в толпе на площади. Того, который задерживал и бил меня, я тоже видел раньше. Почти год я подвергался систематической слезке.

Дальнейшие события подтвердили, что я был прав.

Тем не менее, я вышел на площадь. Для меня не было вопроса, выйти или не выйти. Как советский гражданин, я считал, что должен выразить свое несогласие с грубейшей ошибкой нашего правительства, которая взволновала и возмутила меня — с нарушением норм международного права и суверенитета другой страны.

Я знал свой приговор, когда подписывал протокол в 50 отделении милиции, уже в этом протоколе было сказано, что я совершил преступление по ст. 190³. «Дурак, — сказал мне тогда милиционер, — сидел бы тихо, жил бы спокойно». Может, он и прав. Он уже не сомневался в том, что я человек, потерявший свободу.

То, в чем нас обвиняют, не является тяжким преступлением. Не было никаких оснований заключать

нас под стражу на период предварительного следствия. Надеюсь, никто из присутствующих не сомневается, что мы не стали бы скрываться от суда и следствия.

Следствие тоже предвосхитило решение суда. Следователь собирал только то, что могло послужить материалом для обвинения. Вопрос о том, верил я или нет в то, за что выступал, никого не интересовал, он передо мной даже не ставился. Но ведь если я *верил*, то ст. 190¹ — о заведомо ложных измышлениях автоматически отпадает. А я не только верил, я был убежден!

Не удивила меня и абстрактность обвинительного заключения: в формуле обвинения не разъяснено, что именно в наших лозунгах порочило наш общественный и государственный строй. Даже первоначальное обвинение, предъявленное нам в тюрьме на предварительном следствии, конкретнее. В речи прокурора тоже говорится, что мы выступали против *политики* партии и правительства, а не против общественного и государственного строя. Может быть, некоторые люди считают, что вся наша политика, в том числе и ошибки правительства, определяются нашим общественным и государственным строем. Я так не думаю. Этого, вероятно, не скажет и прокурор, иначе ему пришлось бы признать, что все преступления сталинских времен определяются нашим общественным и государственным строем.

Что происходит здесь? Нарушения законности продолжаются.

Основное из них — нарушение гласности судопроизводства. наших друзей вообще не пускают в зал, мою жену пропускают с трудом. В зале сидят посторонние люди, которые явно имеют меньшее право присутствовать здесь, чем наши родные и друзья.

И мы, и наши защитники обратились к суду с рядом ходатайств — все они были отклонены.

Не был вызван ряд свидетелей, на допросе которых мы настаивали, а их показания способствовали бы выяснению обстоятельств дела.

Я не буду говорить о других нарушениях — достаточно и этого.

Я считаю чрезвычайно важным, чтобы граждане нашей страны были по-настоящему свободны. Это важно еще и потому, что наша страна является самым большим социалистическим государством и — плохо это или хорошо — но все, что в ней происходит, отражается в других социалистических странах. Чем больше свободы будет у нас, тем больше ее будет там, а значит и во всем мире.

Вчера, приводя статью 125 Конституции, прокурор допустил некоторую перестановку в ее тексте — возможно, и умышленную. В Конституции сказано, что в интересах трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется: свобода слова, свобода печати, свобода собраний, митингов и демонстраций. А у прокурора получилось, что эти свободы гарантируются *постольку, поскольку* они служат укреплению социалистического строя.

С у д ь я : Подсудимый Литвинов, не ведите дискуссий, говорите только о деле.

Л и т в и н о в : Я и говорю о деле. Лариса Богораз частично ответила на это, и я согласен с ее толкованием этой статьи. Правда, обычно ее толкуют так же, как и прокурор. Но если бы даже принять такое толкование, то кто определяет, что в интересах социалистического строя, а что — нет? Может быть, гражданин прокурор?

Прокурор называет наши действия сборищем, мы называем их мирной демонстрацией. Прокурор с одобрением, чуть ли не с нежностью говорит о действиях людей, которые задерживали нас, оскорбляли и избивали. Прокурор спокойно говорит о том, что если бы нас не задержали, нас могли бы растерзать. А ведь он юрист! Это-то и страшно.

Очевидно, именно эти люди определяют, что такое социализм и что такое контрреволюция.

Вот что меня пугает. Вот против чего я боролся и буду бороться всеми известными мне законными средствами.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВАДИМА ДЕЛОНЕ

11. 10. 1968

Я не стану повторять все, что сказал мой защитник. Я с самого начала заявил, что считаю предъявленное мне обвинение несостоятельным. Мое мнение не изменилось и после того, как я выслушал показания свидетелей и речь прокурора.

Мне совершенно ясно, что текст лозунгов не содержал никаких ложных измышлений, порочащих наш государственный и общественный строй. Лозунги в очень резкой форме критиковали действия правительства. Я убежден, что критика отдельных действий правительства не только допустима и законна, но и необходима. Все мы знаем, к чему привело отсутствие критики правительства в период сталинизма.

Я вообще не критиковал государственный и общественный строй, не говоря о том, что я не распространял никаких клеветнических сведений и что действия мои не были систематическими.

Я не стану долго объяснять, почему тексты лозунгов не являются ни заведомо ложными, ни порочащими. Текст лозунга, который я держал в руках, — «За вашу и нашу свободу» — выражает мое глубокое личное убеждение.

Я не буду останавливать внимание суда на своих личных убеждениях и на том, как я пришел к своей позиции, тем более, что другим подсудимым это не разрешалось. Прокурор в своей речи говорил об источниках наших убеждений. Я хотел бы сказать, что не пользовался и вообще редко пользуюсь передачами зарубежного радио. Мое мнение сложилось при изучении статей и выступлений ряда чехословацких деятелей и в результате бесед с гражданами Чехословакии, приезжавшими сюда в последний январский период.

Здесь, в зале суда, прокурор обратился ко мне и к Литвинову с вопросом: «Какой свободы вы требуете? Свободы клеветать? Свободы устраивать сборища?» Нет, мне не нужна «свобода клеветать». Я понимаю этот лозунг так: от нашей свободы зависит не только демократия в нашей стране, но и свобода развития другого государства и свобода граждан другой страны.

Характеризуя меня, прокурор ссылался на то, что я «плакал крокодиловыми слезами» на предыдущем процессе. Он говорит, что я был уже осужден по ст. 190³ и знал, что мои действия подсудны. Мне непонятно, почему прокурор ссылается на мой предыдущий процесс, который здесь не обсуждается. Но поскольку он это сделал, и мне придется говорить об этом. Действительно, более года тому назад в зале Мосгорсуда я осуждал свои действия, связанные с демонстрацией на Пушкинской площади в защиту моих арестованных друзей. Однако я осуждал свои действия не с юридической точки зрения. Юридически я себя виновным не признавал. В приговоре сказано, что я признал свою вину. Я не опротестовал тогда этого: это понятно — я оказался на свободе. К тому же, я не был уверен в законности требования, с которым я вышел на демонстрацию: освободить моих арестованных друзей — они не были осуждены. Трудно было защищать такую позицию. Кроме того, я был психологически подавлен тем, что один из моих друзей, Алексей Добровольский, за свободу которого я выступал, клеветал на меня в ходе следствия.

То, что меня осудили, и то, что приговор по делу Хаустова, Буковского и др. вступил в силу, никак не предусматривает, что такие действия всегда являются преступными. Ранее я принимал участие в двух демонстрациях, в том числе в митинге молчания 5 декабря 1966 г. против частичной реабилитации Сталина, и за этими демонстрациями репрессий не последовало.

Я понимаю, что мое положение — особое. И что обвинение, безусловно, воспользуется этим, если против меня будет возбуждено дело. В отличие от других подсудимых, я знал, что такое тюрьма: я провел в ней более семи месяцев. Однако я всё-таки вышел на демонстрацию. Принимая решение по дороге на Красную площадь, я знал, что не совершу незаконных действий, но понимал, был почти уверен, что против меня будет возбуждено уголовное дело. Но то, что я был ранее осужден, не могло побудить меня отказаться от протеста.

Я думаю, что суду будет понятно, что принять такое решение для меня было не легко: в случае возбуждения дела наказание должно было быть суровым. Это лишь доказывает, что я действовал с глубокой убежденностью в своей правоте. Я вышел на площадь и внутренне решил сделать всё необходимое, чтобы никак не нарушать общественный порядок. Я не реагировал даже тогда, когда мне нанесли побои. Повторяю: я был глубоко убежден в своей точке зрения, и я уверен, что не нарушил закон. Я предполагал, что меня лишат свободы на значительный срок за то, что я выразил свой протест. Я понимал, что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы.

Судья: Не говорите о своих убеждениях. Вам не предъявлено обвинение по поводу ваших убеждений.

Делоне: Я не имею права не доверять составу суда: в начале судебного процесса, когда меня спросили, доверяю ли я составу суда, я ответил утвердительно. Исходя из выступлений адвокатов и моего собственного, я прошу суд об оправдательном приговоре. Я — человек, которому глубоко противен всякий тоталитаризм...

Прокурор протестует против «недопустимых выражений».

Судья делает замечание.

Делоне: Я имею в виду навязывание чужой точки зрения. Я допускаю существование различных точек зрения. Я не считаю себя виновным. Но я не могу также утверждать, что моя точка зрения — единственно верная. Если вы всё-таки признаете нас виновными, я хочу обратиться к суду со следующим. Я прошу у суда не снисхождения, а сдержанности. Как вы сами сказали, нас судят не за убеждения. Нас судят за публичное выражение своих убеждений и за форму нашего протеста. Я просил бы суд помнить, что, независимо от того, допустили ли мы нарушение закона в нашей форме выражения, мы выражали наши убеждения открыто, откровенно, бескорыстно и с большой верой в нашу правоту. Я кончил.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА ДРЕМЛЮГИ

11. 10. 1968

Не знаю, принято ли к последнему слову брать эпиграф, но если принято, то я взял бы эпиграфом слова Анатоля Франса из «Суждений аббата Жерома Куаньяра»: «Неужели вы думаете прельстить меня обманчивой химерой этого правительства, состоящего из честных людей, которые возводят такие укрепления вокруг свободы, что вряд ли ею можно будет пользоваться».

С 17 лет я активно участвовал в протестах против политики партии и правительства (в том числе против некоего Никиты Сергеевича), если я был несогласен с нею. Я знаю, что меня будут обрывать, а потому я должен выбирать выражения.

Судья: Не обрывать, а делать замечания.

Дремлюга: Всю свою сознательную жизнь я хотел быть гражданином, т. е. человеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Десять минут я был гражданином. Я знаю, что мой голос прозвучит диссонансом на фоне общего молчания, имя которому — «всенародная поддержка политики партии и правительства». Я рад, что нашлись люди, которые вместе со мною выразили протест. Если бы их не было, я вышел бы на Красную площадь один. Если были бы другие методы, я бы их использовал. Я убежден, что в Чехословакии после январского пленума ЦК...

Прокурор: Подсудимому Дремлюге не предъявлено обвинение по поводу событий в Чехословакии.

Судья: Суд просит не останавливаться на своих убеждениях. Учтите это замечание.

Дремлюга: Прокурор вчера посвятил две трети своей речи тому, что читал передовицы «Прав-

ды». Во вводной части своей речи он касался и Кошице, и Лидице, и венгерских событий...

Судья: Вы не можете критиковать речь прокурора, тем более ее вводную часть.

Дремлюга: На этой-то части я и хотел остановиться. Именно вводной частью он доказывает, что мы заслужили наказание. Прокурор сказал, что некоторые люди не понимают, что оккупация Чехословакии была акцией «братской помощи».

Прокурор хочет прервать.

Дремлюга: Не перебивайте меня! (Оживление в зале.) Я хочу спросить, как бы отнесся гражданин прокурор...

Прокурор: Протестую. Подсудимый не имеет права задавать вопросы. Разъясните это ему.

Судья: Учтите это замечание. Еще раз предупреждаю вас: не останавливайтесь на своих убеждениях.

Дремлюга: Но, к сожалению, именно мои убеждения и привели меня сюда. И поэтому я не могу их не касаться. Я считаю, что данный процесс, как и другие процессы, и сталинизм...

Прокурор: Обвиняемому Дремлюге предъявлены конкретные обвинения, он и должен касаться именно их. В процессе не рассматриваются другие, более ранние события.

Судья опять делает замечание.

Дремлюга: Я не закончил свою фразу, хочу ее закончить.

Судья: Суд еще раз делает вам замечание.

Дремлюга: Я считаю, что все вышперечисленные явления вызваны отсутствием права критиковать правительство. Ради того, чтобы впоследствии это право было законным, я и вышел на Красную площадь и вышел бы куда угодно. И в дальнейшем я буду выражать свой протест любыми средствами. После антикультовского съезда...

Прокурор: Прошу суд предупредить подсудимого Дремлюгу, что на основании ст. 297 УПК РСФСР подсудимый может быть лишен последнего слова, если он будет употреблять недопустимые выражения.

Судья: Если вы не исполните последнего требования, мы вынуждены будем принять определенные меры.

Дремлюга: Я...

Прокурор: Прошу объявить перерыв на пять минут, чтобы адвокат мог разъяснить подсудимому его права и обязанности при произнесении последнего слова.

Судья объявляет перерыв на десять минут.

(После перерыва.)

Дремлюга: В знак протеста против данного судебного процесса и многих других, я отказываюсь от предоставленного мне законом последнего слова.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КОНСТАНТИНА БАБИЦКОГО

11. 10. 1968

Граждане судьи! Вам предстоит принять трудное и ответственное решение. Правовые основы такого решения были с достаточной полнотой разобраны здесь. В результате судебного разбирательства моя убежденность в том, что я не нарушил закона, — не поколеблена. Я хочу привлечь ваше внимание к той стороне дела, которая имеет большое значение для меня самого. Я имею в виду мотивы нашего поступка и значение вашего приговора.

Я понимаю, что необычные условия, сопровождавшие наше появление на Красной площади, в какой-то мере могут вызвать в душе некоторых людей неприязнь к нам. Примером тому служит поведение отдельных граждан, которые, увидев в нас врагов всего того, что им так дорого, не задумываясь, бросились на нас. Полагаю, что они были в заблуждении.

Кого же вы в действительности видите перед собой, граждане судьи?

Я вынужден говорить о себе. Матерью, советской школой, великой русской литературой, лучшими произведениями советской и зарубежной литературы я воспитан в горячей любви и уважении к закону, в любви к прогрессу, к нашей родине, к нашему народу и к народам всего земного шара. Думаю, что в той или иной степени это может сказать о себе каждый из нас. Я полагаю, что это — достаточное основание, чтобы люди, уважающие те же ценности, могли бы с уважением отнестись к различиям во взглядах.

Я прошу вас, граждане судьи, видеть во мне и в моих товарищах не врагов советской власти и со-

циализма, а людей, взгляды которых в чем-то отличаются от общепринятых, но которые не меньше любого другого любят свою родину и свой народ и потому имеют право на уважение и терпимость.

Мне приходится считаться с тем, что я, возможно, понесу наказание. Не скрою, эта перспектива меня не радует, но — прошу верить — гораздо больше меня волнуют другие, более глубокие последствия того или иного вашего решения.

Я уважаю закон и верю в воспитательную роль судебного решения. Поэтому я призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую — приговор оправдательный. Какие нравы хотите вы воспитать в массах: уважение и терпимость к другим взглядам, при условии их законного выражения, или же ненависть и стремление подавить и уничтожить всякого человека, который мыслит иначе?

Я призываю учесть, что — как справедливо сказал здесь мой друг Литвинов — всё, что исходит из социалистического лагеря, всё хорошее и плохое, что происходит в нашей стране, имеет решающее значение для развития событий во всем мире. Я полагаю, что вы не только решаете судьбу нескольких человек на ближайшие годы, но так или иначе — пусть отдаленно — влияете на судьбу всего человечества. Прошу вас выполнить свой долг с мудростью и опираясь на закон. Я уверен, что вы будете исходить только из закона, и спокойно жду своей участи.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ЛЬВА КВАЧЕВСКОГО

(Изложение)

25. 12. 1968

Суд над инженером Л. Квачевским и двумя другими подсудимыми происходил в Ленинграде. По статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) Квачевский был приговорен к 4 годам лагерей строгого режима.

О процессе Л. Квачевского см. «Посев» № 1/1969; самиздатовскую запись Л. П. Нестора о процессе (Спецвыпуск «Посева» № 5).

Данное изложение защитительной речи дано по записи Нестора. — Ред.

Квачевский поблагодарил суд за объективное ведение процесса, заявил, что следствие велось тоже в общем-то вполне объективно, но, к сожалению, следователь сделала из его показаний совершенно не те выводы, которые надлежало из них сделать. После этого Квачевский начал подробно отвечать по эпизодам обвинительного заключения, инкриминируемым лично ему. По первому эпизоду обвинения — антисоветские разговоры в 1964-65 гг. — Квачевский сказал, что в это время он готовился к сдаче кандидатского минимума по философии и поэтому, естественно, разговаривал дома на философские и политические темы. Но высказывался он без навязывания кому бы то ни было своих мнений, пропаганды не вел, а просто выдвигал некоторые тезисы, иногда спорные, иногда бесспорные. Перечисляя тех философов, которых он читал и ценит, Квачевский сказал: «Плеханов, Кунов, Каутский, Энгельс, да — и Ленин». Подтвердил, что по его мнению Плеханов как философ стоит значительно выше Ленина, вообще он Ленина не считает фило-

софом высокого класса, но не видит в этом мнении ничего преступного, тем более — антисоветского.

Переходя к эпизоду обвинения относительно выступления на философском семинаре НИИПП, Квачевский разъяснил, в чем состояли его разногласия с официальной точкой зрения. Он указал, что не считает, — вопреки В. И. Ленину, — будто капитализм в настоящее время является загнивающим. «Утверждаю это не я один, а присоединяюсь к мнению акад. А. Д. Сахарова».

По эпизоду с получением и передачей произведений группы Ронкина Квачевский сказал, что знакомство его с Ронкиным было довольно-таки мимолетным, что с программой группы Ронкина он был знаком, согласен с ней не был, считал ее неверной. Однако, получив ее в руки, пожалел уничтожать произведения, которые стоили авторам немалого труда. Поэтому он решил их сохранить. Вторым мотивом сохранения произведений Ронкина являлось убеждение Квачевского в том, что всякие мысли, даже ошибочные, имеют значение и важны в общественно-политическом движении. Они имеют определенную ценность, следовательно, должны быть сохранены.

«В чем меня обвиняют в основном? — задал он вопрос, переходя к следующему эпизоду. — В составлении, распространении документов, протестов и т. д. Прежде всего я хочу подчеркнуть, что я с большим уважением отношусь к моим московским друзьям — Павлу Михайловичу Литвинову, Ларисе Даниэль-Богораз, Делоне, Дремлюге, Бабицкому. Это — люди с чистым сердцем, благородные и действовавшие на благо нашей стране. Я был убежден, — и остаюсь убежденным до сих пор, — что все протесты, которые я составлял, в основном по делу Гинзбурга — Галанскова, основательны, потому что обвинение не представило ни одного факта, опровергавшего бы мое мнение. Может быть, я неправильно расценил от-

дельные факты: может быть, судья *Миронов*, когда он кричал и топал ногами на свидетелей, не кричал, а это просто такая его манера разговаривать. Может быть, когда *Церкуненко* выталкивал из зала женщину, он не знал, что она в это время ждет ребенка. Может быть, — не настаиваю. Но факты эти имели место, и обвинение не представило никаких доказательств, что этих фактов будто бы не было. Я лично знаю *Гинзбурга*, знаю его как честного, порядочного человека, и поэтому убежден, что то, в чем его обвинили, не могло иметь места, а поэтому не могу признать себя виновным в составлении «клеветнических измышлений».

Что касается письма *Григоренко* о крымских татарах, то *Квачевский* полагал, что, если факты, изложенные в этом документе, соответствуют действительности, то эту политику можно назвать политикой геноцида, как она там и названа. Обвинение же никак не доказало, будто факты, изложенные там, ложны. Аналогично *Квачевский* отозвался о речи *Григоренко*, посвященной юбилею *Костерина*.

Квачевский не признал вменявшуюся ему в вину литературу антисоветской. «Может быть, подборка этой литературы в какой-то мере тенденциозна, но я считаю, что человек имеет право читать любую литературу, если это его интересует, и не вижу в этом состава преступления». Признавая факт получения от *Гендлера* ряда книг, их прочтения и возвращения *Гендлеру*, *Квачевский* не расценивал это как антисоветскую пропаганду и агитацию.

Касательно обвинения в написании письма *Чаковскому*, *Квачевский* признал факт написания этого письма, выразился, что «и до сих пор я считаю, что *Чаковский* своей статьей «Ответ ленинградцу» унизил звание писателя», и не признал ни содержания письма ни факта его отправки подпадающими под квалификацию ст. 70 УК.

Говоря о намерениях писать письмо о Чехословакии, Квачевский заявил, что «мы, естественно, были очень озабочены событиями в Чехословакии. Мы не считали, что там действуют только антисоциалистические силы. Мы очень беспокоились, чтобы не повторилась трагедия Венгрии, когда произошло кровопролитие, чтобы туда не были введены наши войска. И, естественно, если бы я был на свободе в дату, когда туда были введены наши войска, я бы тоже вышел на демонстрацию в Москве. Разговоров о проведении демонстрации в Ленинграде не было».

Он сделал вывод, что его деяния не могут быть квалифицированы по ст. 70 УК. «Я прошу суд оправдать меня. Я прошу не милосердия суда, а справедливого приговора об оправдании».

«ВМЕСТО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ИВАНА ЯХИМОВИЧА)

24. 3. 1969

Через несколько часов после написания открытого письма «Вместо последнего слова» Иван Яхимович был арестован и приговорен к принудительному лечению в психиатрической больнице. Освобожден в мае 1971 г. О «деле Яхимовича» см. «Посев» № 5/1969; «Хронику текущих событий», выпуск 7 (Спецвыпуск «Посева» № 2). — Р е д.

ДНИ МОЕЙ СВОБОДЫ СОЧТЕНЫ. В ПРЕДДВЕРИИ НЕВОЛИ Я ОБРАЩАЮСЬ К ЛЮДЯМ, ЧЬИ ИМЕНА ЦЕПКО ДЕРЖАТ ПАМЯТЬ И СЕРДЦЕ. — ВЫСЛУШАЙТЕ МЕНЯ!

Мне 38 лет, родился в семье прачки и поденного рабочего в Даугавпилсе. Был десятым по счету ребенком, окончил среднюю школу, потом Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. Работал учителем средней школы на селе, инспектором школ, председателем колхоза «Юна гварде» Краславского района. Теперь работаю кочегаром в санатории «Белоруссия» г. Юрмала Латвийской ССР. Был комсомольцем 10 лет, членом партии — 8 лет (исключен 13 марта 1968 г.).

Я рос и воспитывался в такой среде, где имя Ленина значило больше, чем какое либо другое, где правду учили ставить на первый план. В начале 1942 г. погиб под Москвой мой брат К а з и м и р Я х и м о в и ч, награжденный орденом Красной звезды; защищая Ленинград, погиб муж сестры Н и к о л а й К и р х е н ш т е й н, племянник бывшего председателя Президиума Верховного совета Латвийской ССР. Дядя, Я х и м о в и ч И г н а т, ста-

рый революционер, отбыл 8 лет каторжных работ в буржуазной Латвии. Старший брат, Я х и м о в и ч И о с и ф — коммунист.

В 1956 г. я поехал по комсомольской путевке на целину. Там впервые встретился со своей будущей женой, хотя учились мы на одном факультете — историко-философском. Она — на первом, а я — на пятом курсе. В 1960 г. стали супругами.

Я вынужден говорить о себе, потому что скоро, возможно, поток лжи и лицемерия выйдет за пределы суда.

Я вынужден говорить о себе, потому что моя судьба — это судьба моего народа, моя честь — это его честь.

Я обвиняюсь по ст. 183¹ УК Латв. ССР в распространении ложных измышлений, заведомо порочащих советский государственный и общественный строй. Максимальное наказание — 3 года лишения свободы, или 1 год лагерных работ, или 100 руб. штрафа.

Якобы письмо на имя Суслова, направленное мною в ЦК КПСС и ставшее известным на Западе, является антисоветским.

Якобы письмо П. Литвинова и Л. Богораз «К мировой общественности», которое я распространил, является клеветническим.

27 сентября 1968 г. при обыске у меня были изъяты газеты, журналы, конспекты произведений В. И. Ленина, две тетради моих записей о событиях в ЧССР, дневник жены, неотправленное письмо в защиту П. Литвинова, реферат П. Г. Григоренко о начальном периоде войны 1941-1945 гг. Обыск делался по подозрению в ограблении мною банка на сумму свыше 19 тыс. руб., хотя к тому времени уже был задержан настоящий преступник, и во все районные отделения милиции сообщено о прекращении розыска.

5 февраля, 19 и 24 марта я был вызван к следователю прокуратуры Ленинского района г. Риги —

Э. Какитису, хотя проживаю в г. Юрмале. Из отрицательной характеристики, данной мне первым секретарем Краславского райкома партии Г. М. Кирилловым и начальником производственного управления А. И. Орловым, из показаний старшего преподавателя Елгавской сельскохозяйственной академии т. Пакалнietиса, который утверждает, что якобы я в беседе с ним заявил, что был в Москве у П. Литвинова, записал письмо Суслову на пленку с целью передачи ее за границу, из целого ряда других показаний того же рода — я понял: если раньше стоял вопрос — судить меня или не судить, а если судить, то сажать или не сажать, теперь же только одна половина осталась — судить и сажать...

Бертран Рассел, Вы философ, может быть, Вам яснее, на чем основано их обвинение? На какой позиции стоят они? На классовой? Но ведь я рабочий по социальному происхождению, да и по роду занятий теперь таковой. Какие я нарушил законы? Конституция Латвийской ССР и «Декларация прав человека» разрешают писать, распространять, демонстрировать и т. д. Может быть, они боятся, что я стану капиталистом? Но будучи председателем колхоза, я не имел ни приусадебного участка, ни коровы, ни овечки, ни даже курицы, а жил на свою зарплату. Нет у меня ни собственного дома, ни машины, ни сберегательной книжки. Единственный мой капитал — это книги и трое детей. Может быть, они думают, что я работал и работаю не на социализм? Но тогда, на какой же строй я работаю? Кому угрожает моя свобода и почему ее необходимо отнять у меня?

Товарищ Александр Дубчек, когда 25 августа 7 человек вышли на Красную площадь с лозунгами — «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!» — их били до крови, их называли «антисоветчиками», «жидами» и т. д... Я не мог быть с ними, но я был с Вами и всегда буду, пока Вы честно бу-

дете служить своему народу. Держитесь твердо — солнце снова взойдет...

Александр Исаевич, я счастлив, что смог прочесть Ваши произведения. «Дань сердца и вина» — Вам!

Павел и Лариса, мы приветствовали Ваше мужество по-гладиаторски: «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Мы гордимся вами...

«Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье».

Евгений Михайлович, дружище, ветеран Великой Отечественной, пусть тебя не застанет врасплох мое заключение. Не верь, не верь! Я не могу быть врагом советской власти.

Крестьяне «Яуна гварде», я работал с вами 8 лет. Срок — достаточный, чтобы понять человека. Судите сами, и пусть ваш суд служит истине. Не дайте обмануть себя.

Рабочие Ленинграда, Москвы, Риги! Грузчики Одессы, Лиепай, Таллина! Спасая честь своего класса, рабочий Владимир Д р е м л ю г а вышел на Красную площадь, чтобы сказать Н Е Т оккупантам Чехословакии. Он брошен в тюрьму (Мурманск, 9, п/я 241/17).

Под предлогом нарушения прописки брошен в тюрьму грузчик Анатолий М а р ч е н к о (Пермская область, Чердынский район, п/о «Ныроб», п/я ШЗ 20/16 т). Его письмо разоблачало лицемерие правящей верхушки, ее вмешательство во внутренние дела ЧССР. До этого он, оклеветанный, 6 лет томился в лагерях Мордовии. Потерял слух и здоровье.

КТО ЖЕ ПОМОЖЕТ РАБОЧЕМУ, ЕСЛИ НЕ РАБОЧИЙ! ОДИН ЗА ВСЕХ, и ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Товарищ Григоренко, товарищ Якир! Закаленные борцы за правду. Да сохранит вас жизнь для правого дела!

Крымские татары! Кто лишил родины целый народ, кто оклеветал весь народ, от грудных детей до седых стариков, — тот является смертельным врагом всех народов. За вашу Родину, КРЫМСКУЮ ТАТАРСКУЮ АВТОНОМНУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ! За ваших СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ, брошенных в тюрьмы! За ваши попранные права!

**СПЛОТИТЕСЬ С ПРОГРЕССИВНЫМИ БОРЦАМИ
ВСЕХ НАРОДОВ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ.
РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!**

Я обращаюсь к людям моей национальности — полякам, где бы они ни жили, кем бы ни работали... Не молчите, когда совершается несправедливость!

«Еще Польша не погибла, пока мы живы»...

Я обращаюсь к латышам, чья земля стала мне родиной, чей язык я знаю с детства, как польский и русский... Не забывайте, что в лагерях Мордовии и Сибири томятся тысячи ваших соотечественников! Требуйте возвращения их в Латвию. Внимательно следите за судьбой каждого, кого лишили свободы по политическим соображениям.

«Свирепая буря вырвала
На дюнах у моря Балтийского
Высокие сосны, прозревшие даль, —
Ни скрыться не успели, ни сжаться, как сталь».

Академик Сахаров, я слышал Ваши «Размышления...». Жалею, что не успел ответить Вам. Долг за мной.

«На свете много зла, и очень мало
Людей, кого бы это удивляло».

(Юсуф Хас-Хаджиб Баласагунский)

Коммунисты всех стран, коммунисты Советского Союза!

У вас один господин, один повелитель — народ. Но народ состоит из живых людей, из конкретных судеб. Когда нарушаются права человека, тем более от имени социализма, от имени марксизма, — двух позиций не может быть.

И тогда ваша совесть и ваша честь должны приказывать:

КОММУНИСТЫ, вперед! КОММУНИСТЫ, вперед!

Прежде всего это опасно для советской власти, когда людей лишают свободы за их убеждения, ибо так недолго и ее лишит свободы.

СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО СИЛЬНЫ ПОТОМУ, ЧТО МЫ СТОИМ НА КОЛЕНЯХ. ПОДНИМЕМСЯ ЖЕ!

24 марта 1969 г. (за несколько часов до ареста).

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ИЛЬИ БУРМИСТРОВИЧА

21. 5. 1969

*Суд над математиком, кандидатом наук И. Бурми-
стровичем проходил в Московском городском суде.
По статье 190 УК РСФСР (распространение запре-
щенной литературы, т. е. клевета на советский об-
щественный и государственный строй) Бурми-
стрович был приговорен к 3 годам лагерей общего режи-
ма.*

*О суде над Бурмистровичем см. «Хронику текущих
событий № 8 (Спецвыпуск «Посева» № 2). — Ред.*

Граждане судьи! Вы судите меня за распростра-
нение лжи, а я больше всего на свете хотел знать
правду. Я вообще интересовался историей литерату-
ры и захотел узнать правду о процессе Синяв-
ского и Даниэля и сам прочесть произведения,
за которые их судили. Я давал произведения С. и Д.
Турундаевской и Багатурьянцу не
потому, что я хотел распространять клевету, а пото-
му, что они, как и я, хотели знать правду. Допрос
свидетелей показал, что я не принес им вреда.

Вы и сами знаете, что судите меня не за те пре-
ступления, которые вменяются мне в вину. Дело,
которое вы сегодня рассматриваете, очень незначи-
тельно, оно затрагивает непосредственно всего двух-
трех человек, но решение ваше не становится от
этого менее важным.

Граждане судьи! Вы меня оправдаете!

Сейчас мне вменяется в вину распространение пя-
ти клеветнических произведений. Во время следст-
вия их было шесть. Поводом для ареста послужили
не произведения Синявского и Даниэля, а попытка
напечатать запись процесса над ними. Очень харак-
терно, что эту запись, на которую здесь ссылались
как на достоверную, следователь Сергеев называл

клеветнической. Получается страшное недоразумение.

Основное противоречие я вижу в том, что под видом борьбы с распространением произведений Синявского и Даниэля борются с распространением всех произведений вообще. Под видом борьбы с распространением клеветы борются с тем, чтобы люди знали правду.

Я бы еще понял, если бы прямо сказали, что это правда, но она вредна, а не приклеивали бы ярлыки «идеологически невыдержанный», «идеологически вредный». Возникает вопрос: может ли правда быть идеологически вредной? Этот вопрос сейчас является основным. Я уверен, что наше государство достаточно сильно, чтобы выдержать любую правду.

Граждане судьи, вы меня оправдаете! Вам не легко будет оправдать меня прежде всего потому, что год, который меня держали в тюрьме, придется объяснить, по меньшей мере, ошибкой, и потому еще, что следствие вело КГБ и обвинение поддерживает прокурор Союза.

Граждане судьи! От вас сейчас много зависит. От вас зависит, будете ли вы способствовать возрождению атмосферы всеобщего страха. Я уверен, что суровый приговор принесет больший вред нашему строю, чем то, за что меня судят.

Вы сейчас удалитесь в совещательную комнату и там с вами будет только закон. Я много думал, граждане судьи, о том, что вам сегодня скажу. Я целый год готовился к этому дню, и главное, что я хочу сказать: не надо бояться.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ИЛЬИ ГАБАЯ

(Изложение)

19. 1. 1970

Процесс И. Габая и М. Джемилева проходил в Ташкенте. По статье 190 УК РСФСР преподаватель и поэт Габай был приговорен к 3 годам лагерей общего режима; по статье 191 УК УзССР Джемилев был приговорен к 3 годам лагерей строгого режима.

О процессе Габая - Джемилева см. «Хронику текущих событий», выпуск 12 (Спецвыпуск «Посева» № 4). — Р е д.

В последнем слове Илья Габай сказал, что одно из самых страшных проявлений сталинизма — это массовое растление людей. Он, Габай, выступает против политических репрессий, против преследования инакомыслящих, ибо не желает уподобляться представителям того поколения, которое «не заметило» исчезновения 14 миллионов сограждан в 30-40 годы.

Его, Габая, обвиняют в клевете, даже не пытаюсь по существу возражать против этой «клеветы». Зато безнаказанно клевета делает свое дело в печати. Например, журнал «Крым» обливает грязью крымскотатарскую нацию. А разве понесли ответственность те, кто называл евреев-врачей «убийцами в белых халатах»? Расплатились ли за свою клевету такие нагнетатели погромной атмосферы, как, например, Грибачев и Кононенко?

Кто же отделяет у нас истину от лжи? Говорят: народ! Но все преступления, которые творились у нас, все несправедливости, которые творятся сейчас, — всё это делается именем народа. И так будет продолжаться до тех пор, пока механическим поднятием рук будут решаться вопросы жизни и смерти; до тех пор, пока дух мертвящего единомыслия

будет подавлять личность, превращая самое «народ» в инструмент демагогии и насилия.

В заключение И. Габай сказал, что ничего бы не просит у суда.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА

(Изложение)

19. 1. 1970

В своей защитительной речи и в последнем слове Мустафа Джемилев рассказал о борьбе крымско-татарского народа за возвращение на родину и восстановление своей государственности. М. Джемилев говорил о созданной в Крыму материальной и духовной культуре своего народа. Джемилев представил суду список опубликованной у нас беллетристики и публицистики, содержащей клевету на крымскотатарский народ. М. Джемилев рассказал о гонениях, которым подвергаются со стороны местных властей и карательных органов крымские татары, пытающиеся вернуться на родину.

М. Джемилев заявил, что в знак протеста против преследования крымских татар и судебного произвола он объявляет тридцатидневную голодовку.

«Родина или смерть!» — таковы были последние слова Мустафы Джемилева.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЛАДИСЛАВА НЕДОБОРЫ

11. 3. 1970

Суд над инженерами В. Недоборой и В. Пономаревым проходил в Харькове. По статье 187 УК УССР оба были приговорены к 3 годам лагерей общего режима.

О процессе Недоборы-Пономарева см. «Хронику текущих событий», выпуск 13 (Спецвыпуск «Посева» № 4). — Р е д .

«Я впервые и, наверно, в последний раз выступаю публично. Принято, что подсудимый в последнем слове защищает себя. Я себя защищать не буду. Я защищал себя с августа 68-го года до сегодняшнего дня. Уважаемый адвокат в своей речи облегчил мою задачу. Моя защита заключается в 4-х томах этого дела, которые по окончании процесса будут сданы в архив.

Я буду говорить об этом суде.

Я задавал себе вопрос: «Как мне любить свою Родину?» На этот вопрос дал ответ великий русский философ (Чаадаев. — Р е д .). «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впасть в их ошибки, в их заблуждения и суеверия».

Сейчас речь идет о чем-то гораздо более важном, чем судьба Пономарева, Недоборы или их детей. Речь идет о судьбе нашей Родины, ее будущем и будущем всех советских людей.

Теперь об этом трагическом процессе. Трагичность его заключается в том, что одни советские люди су-

дят других советских людей. Но я остаюсь неискор-
вимым оптимистом и верю, что, в конце концов, —
а те времена, когда горбатов исправляли могилами
прошли, — то большое, что объединяет всех людей,
— победит».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АНДРЕЯ АМАЛЬРИКА

12. 11. 1970

Суд над историком А. Амальриком и Л. Убожко проходил в Свердловске. По статье 190 УК РСФСР оба были приговорены к 3 годам лагерей строгого режима.

О суде над Амальриком и Убожко см. «Посев» № 12/1970; «Хронику текущих событий», выпуск 17 (Спецвыпуск «Посева» № 8). — Р е д .

Судебные преследования людей за высказывания или взгляды напоминают мне средневековые с его «процессами ведьм» и индексами запрещенных книг. Но если средневековую борьбу с еретическими идеями можно было отчасти объяснить религиозным фанатизмом, то все происходящее сейчас — только трусостью режима, который усматривает опасность в распространении всякой мысли, всякой идеи, чуждой бюрократическим верхам.

Эти люди понимают, что поначалу развалу любого режима всегда предшествует его идеологическая капитуляция. Но, разглагольствуя об идеологической борьбе, они в действительности могут противопоставить идеям только угрозу уголовного преследования. Сознывая свою идейную беспомощность, в страхе цепляются за уголовный кодекс, тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы.

Именно страх перед высказанными мною мыслями, перед теми фактами, которые я привожу в своих книгах, заставляет этих людей сажать меня на скамью подсудимых как уголовного преступника. Этот страх доходит до того, что меня даже побоялись судить в Москве и привезли сюда, рассчитывая, что здесь суд надо мной привлечет меньше внимания.

Но все эти проявления страха как раз лучше всего доказывают силу и правоту моих взглядов. Мои книги не станут хуже от тех бранных эпитетов, какими их здесь наградили. Высказанные мною взгляды не станут менее верными, если я буду заключен за них на несколько лет в тюрьму. Напротив, это может придать моим убеждениям только бóльшую силу. Уловка, что судят не за убеждения, а за их распространение, представляется мне пустой софистикой, поскольку убеждения, которые ни в чем себя не проявляют, не есть настоящие убеждения.

Как я уже сказал, я не буду входить здесь в обсуждение своих взглядов, поскольку суд не место для этого. Я хочу только ответить на утверждение, что некоторые мои высказывания якобы направлены против моего народа и моей страны. Мне кажется, что сейчас главная задача моей страны — это сбросить с себя груз тяжелого прошлого, для чего ей необходима прежде всего критика, а не славословие. Я думаю, что я лучший патриот, чем те, кто, громко разглагольствуя о любви к родине, под любовью к родине подразумевают любовь к своим привилегиям.

Ни проводимая режимом «охота за ведьмами», ни ее частный пример — этот суд — не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю, впрочем, что подобные суды рассчитаны на то, чтобы запугать многих, и многие будут запуганы, — и все же я думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим.

Никаких просьб к суду у меня нет.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
А. Э. ЛЕВИТИНА-КРАСНОВА

(Выдержки из выступления)

19. 5. 1971

Суд над церковным писателем А. Э. Левитиным-Красновым состоялся в Москве. По статье 190 УК РСФСР Левитин-Краснов был приговорен к 3 годам лагерей общего режима.

О суде над Левитиным-Красновым см. «Посев» № 6/1971; «Хронику текущих событий», выпуск 20 (Спецвыпуск «Посева» № 9). — Р е д .

...Я верующий христианин. А задача христианства не только в том, чтобы ходить в церковь. Она заключается в воплощении заветов Христа в жизнь. Христос призывал защищать всех угнетенных. Поэтому я защищал права людей, будь то почаевские монахи, баптисты или крымские татары, а если когда-нибудь станут угнетать убежденных антирелигиозников, я стану защищать и их... Ни один здравомыслящий человек не считает, что критиковать отдельные положения законов, вносить поправки к ним — является преступлением. Это демократическое право каждого гражданина завоевано в трудной борьбе за свободу английской, французской, Октябрьской революциями... Я писал правду, одну правду. Все в моих произведениях основано на достоверных фактах и соответствует действительности... Я считаю, что данная речь прокурора является позором для советского суда...

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВАЛЕНТИНА МОРОЗА

18. 11. 1970

Суд над преподавателем истории В. Морозом проходил в Ивано-Франковске. По статье 62 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда) Мороз был приговорен к 9 годам заключения (из них 6 лет тюрьмы и 3 года лагерей особого режима) и 5 годам ссылки.

О суде над В. Морозом см. «Посев» № 3/1971; «Хронику текущих событий», выпуск 17 (Спецвыпуск «Посева» № 8). — Р е д .

Я не буду цитировать кодекса и доказывать свою невиновность. Судят нас не за проступок, и вы это хорошо знаете. Нас судят в зависимости от той роли, которую мы играем в нежелательных для вас процессах. Есть люди, для ареста которых вы имеете больше формально-юридических оснований, чем для моего ареста. Но вам выгодно, чтоб люди эти были на воле, так как они понижают тонус украинского возрождения, тормозят его скорость, впрочем, не понимая этого. Этих людей вы никогда не тронете, даже если б они случайно попали к вам, вы постарались бы их немедленно освободить. Вы пришли к заключению, что В. Мороз повышает температуру нежелательных вам процессов на Украине, а поэтому лучше отделить его от среды решеткой. Что ж, это было бы очень логично, если бы не одно только «но»...

Начиная с 1965 года, вы посадили за решетку несколько десятков человек. Что это вам дало? Не буду говорить о тенденции — остановить ее не удалось еще никому. Но удалось ли вам ликвидировать, по крайней мере, ее конкретно-материальные проявления? Остановили ли вы, скажем, поток неофициальной, внецензурной литературы, который уже

имеет название — «Самиздат»? Нет. Это оказалось вам не под силу. Самиздат растет, обогащается новыми формами и направлениями, обрастает новыми авторами и читателями, а главное — он пустил корни так широко и глубоко, что никакое увеличение штата доносчиков, никакие японские магнитофоны не помогут. Ваши усилия ни к чему не привели, и то, что вы делаете, можно было бы назвать по-русски «мартышкин труд». Но дело в том, что «мартышкин труд» — это работа, от которой никому не холодно и не жарко, работа без результата. О вашей работе этого не скажешь — она уже дала заметный эффект, но эффект совершенно противоположный тому, которого вы ожидали. Оказалось, что вы не запугали, а заинтересовали. Вы хотели потушить и вместо этого подлили масла в огонь. Ничто так не содействовало оживлению гражданской жизни на Украине, как ваши репрессии. Ничто так не привлекло внимания людей к процессам украинского возрождения, как ваши суды. Правду говоря, именно эти суды и показали широкой публике, что на Украине снова ожила гражданская жизнь. Вы хотели спрятать людей в мордовские леса — а вместо того вывели на огромную арену — и их увидел весь мир. Большинство активистов украинского возрождения стало активистами как раз в атмосфере возбуждения, вызванного вашими репрессиями. Словом, прошло уже достаточно времени, чтобы вы наконец поняли: репрессии вредят прежде всего в а м. А вы все судите... Для чего? Чтобы выполнить план? Чтобы успокоить служебную совесть? Чтобы сорвать злость? Скорее всего — по инерции.

Вы внесли в современный послесталинский этап украинского возрождения то, без чего он был еще сырым и незрелым: вы внесли элемент жертвенности. Вера возникает тогда, когда есть мученики. Их вы нам дали.

Каждый раз, когда на украинском горизонте появлялось живое, вы швыряли в него камнем. И

каждый раз оказывалось, что это не камень, а бумеранг. Он обязательно возвращался и... вас же бил! Что же произошло? Почему репрессии не дают обычного эффекта? Почему испытанное оружие стало бумерангом? Время изменилось — вот и весь ответ. У Сталина было достаточно воды, чтобы тушить огонь. Вы же находитесь в совершенно иной ситуации. Вам пришлось жить в эпоху, когда резервы исчерпались. А если воды мало — лучше не дразнить огня. Потому что тогда еще лучше горит — это знает каждый ребенок. Вы взяли палку в руки, чтобы раскидать костер — но вместо того только расшевелили его. На большее не хватает силы. Это значит, что общественный организм, в котором мы живем, вступил в такую фазу развития, когда репрессии уже дают обратный эффект. И каждая новая репрессия будет также новым бумерангом.

Посадив меня за решетку 1-го июня, вы снова запустили бумеранг. Что будет дальше — вы уже видели. Пять лет тому назад меня посадили на скамью подсудимых — и оттуда вылетела стрела. Потом меня посадили за колючую проволоку в Мордовию — и оттуда вылетела бомба. Теперь вы опять, ничего не поняв и ничему не научившись, начинаете все сначала. Только на этот раз действие бумеранга будет гораздо сильнее. В 1965 году Мороз был никому не известным преподавателем истории. Теперь его знают...

И вот Мороз хлебает тюремную капусту. Скажем по-еврейски: «Что вы с этого будете иметь?» Единственный Мороз, от которого бы вам была величайшая польза — это покорный Мороз, написавший покаянное заявление. Это действительно был бы ошеломляющий удар для всего сознательного украинства. Но такого Мороза вы не дождетесь никогда. Если же вы рассчитываете, посадив меня за решетку, создать какой-то вакуум в украинском возрождении, то это не серьезно. Поймите наконец: вакуума больше не будет. Густота духовного потенциала Украины

уже достаточно для того, чтобы заполнить какой бы то ни было вакуум и дать новых общественных деятелей как вместо тех, которые сидят в тюрьме, так и вместо тех, которые отошли от общественной деятельности. Шестидесятые годы внесли значительное оживление в украинскую жизнь, семидесятые тоже не будут вакуумом в украинской истории. Те золотые времена, когда вся жизнь была втиснута в официальные рамки, минули безвозвратно. Уже существует культура вне министерства культуры и философия вне журнала «Вопросы философии». Теперь уже постоянно будут существовать явления, появившиеся без официального разрешения, и с каждым годом этот поток будет увеличиваться.

Меня будет судить теперь суд за закрытыми дверями. И все-таки он станет бумерангом, даже если меня никто не услышит, даже когда я буду молчать в изолированной от мира камере Владимирской тюрьмы. Бывает молчание громче крика. И даже уничтожив меня, вы не сможете его заглушить. Уничтожить легко, — но задумывались ли вы над такою истиной: уничтоженные иногда значат больше, чем живые. Уничтоженные становятся знаменем. Уничтоженные — это кремень, из которого строятся кристальные крепости в чистых душах.

Знаю хорошо, что вы скажете на это: Мороз слишком много о себе думает. Но тут дело не в Морозе. Речь идет о каждом честном человеке на моем месте. И, наконец, там, где люди готовы к медленной смерти во Владимирской тюрьме от какого-нибудь хитрого химиката — там нет места для мелочного честолюбия.

Национальное возрождение — наиглубочайший из всех духовных процессов. Это явление многоплановое и многослойное, оно может проявиться в тысячах форм. Никто не может всех их предвидеть и сплести настолько широкий невод, чтобы охватить процесс во всей его широте. Ваши плотины мощны и надежны, но они стоят на суше. Весен-

ние воды просто миновали их и нашли новые русла. Ваши шлагбаумы закрыты. Но они никого не останавливают, так как трассы давно проложены сбоку, вне их. Национальное возрождение — это процесс, имеющий практически неограниченные ресурсы, так как национальное чувство живет в душе каждого человека — даже такого, который духовно, казалось бы, давно умер. Это проявилось, скажем, во время дебатов в Союзе писателей, когда против исключения И. Дзюбы голосовали люди, от которых этого никто не ожидал.

Вы упорно повторяете, что люди, сидящие за решеткой, просто уголовные преступники. Вы закрываете глаза и делаете вид, что проблемы нет. Ну, хорошо, на этой не очень умной позиции вам удастся протянуть еще лет десять. А дальше? Ведь новые процессы на Украине (и во всем Союзе) только начинаются. Украинское возрождение еще не стало массовым. Но не обольщайте себя надеждой, что так будет всегда. В эпоху сплошной грамотности, когда на Украине насчитывается 800.000 студентов, а радио есть у каждого, в такую эпоху всякое значительное общественное явление становится массовым. Неужели вы не понимаете, что скоро вам придется иметь дело с массовыми социальными тенденциями? Новые процессы только лишь начинаются — а ваши средства репрессий уже перестали быть эффективными. Что же будет дальше?

Есть только один выход: отказаться от устаревшей политики репрессий и найти новые формы существования с новыми явлениями, уже бесповоротно утвердившимися в нашей действительности. Такова реальность. Она явилась, не спрашивая разрешения, и принесла новые явления, требующие нового подхода. Людям, призванным заниматься государственными делами, есть над чем подумать. А вы все развлекаетесь, запуская бумеранг...

Будет суд. Что же, будем бороться. Именно теперь, когда один написал покаянное заявление, дру-

гой переквалифицировался на переводчика — именно теперь необходимо, чтобы кто-то показал пример твердости и одним махом смыл то гнетущее впечатление, которое возникло после отхода некоторых людей от активной гражданской деятельности. Жребий выпал мне... Тяжела эта миссия. Сидеть за решеткой никому не легко. Но ведь не уважать себя — еще тяжелее. И поэтому — будем бороться!

Будет суд, и снова все начнется сначала: новые протесты и подписи, новый материал для прессы и радио всего мира. Раз в десять увеличится интерес ко всему, что написал Мороз. Словом, это будет подливание новой порции масла в огонь, который вы хотите потушить.

Это и есть подрывная деятельность. Но моей вины тут не ищите: не я посадил Мороза за решетку. Не я запустил бумеранг.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО РЕЙЗЫ ПАЛАТНИК

25. 6. 1971

Суд над библиотекарем Р. Палатник проходил в Одессе. По обвинению в распространении ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, она была приговорена к 2 годам лагерей общего режима.

О суде над Р. Палатник см. «Посев» № 7/1971; «Хронику текущих событий», выпуск 20 (Спецвыпуск «Посева» № 9); «Вестник Исхода» № 2. — Р е д.

Прежде всего, мне хочется сказать об обстоятельствах, которые, по моему мнению, явились непосредственной причиной моего пребывания на скамье подсудимых. За что меня судят? Меня судят за то, что я всю свою жизнь остро чувствовала свое еврейство, посмела примкнуть к движению возрождения национального самосознания евреев в СССР, стремящихся к выезду в Израиль.

Я знаю, что уже за последние месяцы моего ареста довольно большое число евреев, в том числе и некоторые мои друзья, уехали в Израиль. Ознакомившись в тюрьме с опубликованными в советских газетах данными переписи населения, я, как и тысячи других, с изумлением обнаружила, что в противоположность всем другим народам СССР, численность которых непрерывно возрастает, количество евреев в Советском Союзе за последние десять лет уменьшилось более чем на сто тысяч человек. Газеты не комментируют причины этого довольно-таки странного явления, давая тем самым достаточное основание предполагать и строить всякого рода гипотезы на этот счет. Ассимиляция? Предположим. Но ассимилируются и другие народы, ибо дискриминации в разной степени подвергается все нерус-

ское. Но среди всех народов СССР только евреи имеют Родину за пределами СССР. Эта Родина — государство Израиль, в пункте первом конституции которого утверждается, что всякий еврей, где бы он ни жил, в какой бы части света ни родился, сам фактом своей принадлежности к еврейскому народу автоматически является гражданином Израиля. Думаю, замеченная всеми убыль еврейского населения в СССР связана со все возрастающей эмиграцией в Израиль. Смею надеяться, что наступит день, когда и я смогу осуществить свою давнюю мечту и выехать в страну, все достижения которой созданы руками моего народа, страну, которую я считаю своей единственной Родиной.

Но 8 месяцев назад, во время обыска в моем доме и моего ареста, положение было совсем иное. Разрешение на выезд получали тогда единицы, и власти пугались лавинообразного нарастания количества заявлений с требованием выезда, и с каждым днем эти требования становились все упорнее. Тогда-то было испробовано испытанное веками средство — запугать евреев. Так начались аресты и обыски в десятках домов Риги, Ленинграда, Кишинева. Арестовали и меня здесь, в Одессе. Мой арест — одно из звеньев этой цепи.

На первом же допросе следователи КГБ упорно добивались, чтобы я назвала своих друзей и знакомых в других городах Союза — я отказывалась отвечать на подобные вопросы. 14 октября 1970 года у меня дома был произведен обыск. Поводом для обыска, как было сказано в ордере, послужил якобы факт кражи денег и ценностей в какой-то школе. Однако лица, производившие обыск, даже не обратили внимания на деньги и другие предметы, могущие заинтересовать милицию, если бы речь шла действительно о краже. Быстро найдя открыто у меня хранившиеся материалы Самиздата, сотрудники, производившие обыск, составили подробную опись стихов, очерков и писем известных писате-

лей и публицистов, и так же быстро поспешили ретироваться. На следующее утро я была вызвана на допрос, — но не в отделение милиции, производившее обыск, а в Комитет Государственной Безопасности. Следователь *Ларионов* в течение нескольких часов буквально кричал на меня, требуя сказать, от кого и когда я получила изъятые при обыске материалы. Я ему ничего не сказала, а придя домой и заглянув в юридический справочник, с изумлением прочла в статье «Уголовный процесс», что по пункту закона меня вообще никто не имел права допрашивать без предъявления обвинения. Вызванная на следующий день, я сказала следователю, что до предъявления обвинения вообще отказываюсь отвечать на какие бы то ни было вопросы. Тот ужасно возмутился и вышел, заставив меня прождать в закрытом кабинете более трех часов. Через три часа в кабинет вошел какой-то другой сотрудник и выпустил меня. Допросы продолжались почти каждый день, теми же методами, но с тем же успехом, после чего меня почти на месяц оставили в покое, не вызывали на допросы, однако мне стало известно, что, выступая на областном семинаре пропагандистов и агитаторов, председатель Областного одесского управления КГБ *Куварзин* заявил буквально следующее: «К нам поступили тревожные сведения: на квартире у работника библиотеки *Розы Палатник* изъято свыше 50 экземпляров антисоветской литературы». Таким образом я узнала что моя участь фактически уже решена, так как сам начальник областного управления КГБ публично признал изъятую у меня литературу антисоветской — не только до суда, но даже до начала официального следствия.

В середине ноября органы КГБ произвели обыск на квартире моих родных в городе Балта, где я уже много лет не жила. Чем еще можно объяснить этот акт, если не желанием запугать и деморализовать моих родителей, и таким образом добиться

определенного давления с их стороны на меня. Более месяца за мной была установлена регулярная слежка: куда бы я ни выходила из дому, в будничные или праздничные дни, два работника КГБ неотступно следовали за мной. Право же, иногда становилось ужасно смешно: зачем они это делали? Ведь они следили за мной почти открыто, почти не скрываясь. Возле моего дома постоянно дежурила машина. Зачем? Боялись, чтобы я куда-нибудь не убежала, не скрылась от грядущего возмездия? Глупо.

Наконец, меня арестовали. В глубине души, признаюсь, я даже обрадовалась. Закончилось хотя бы странное существование, жизнью на свободе его не назовешь. Ведь я, как миллионы людей в 1937 г., каждую ночь с замиранием сердца прислушивалась к шорохам и шагам на лестнице! И это сейчас, в 1970 году. Следствие по моему делу (мне инкриминировали распространение клеветнической литературы) продолжалось семь с половиной месяцев. Даже неискушенному в юридических тонкостях человеку становится ясно, что обвинению явно не хватало материалов. Если бы речь шла о действительном, а не мнимом преступлении, следствие закончилось бы значительно раньше. Арест мой произошел так: 1 декабря 1970 года меня вызвали на допрос, и после того, как я отказался отвечать на вопросы следователя, предъявили постановление об аресте. Пока я знакомилась с ним и обдумывала, как вести себя дальше, в кабинет вошел начальник следственного отдела полковник Саслюк. Увидев, что я не прореагировала на его приход, он крикнул: «Посмотрите на эту нахалку! Да как же ты можешь ходить по русской земле и жрать русский хлеб?!»

Все эти факты, равно как и многие другие, о которых я сейчас не упоминаю, вызвали во мне вполне понятное недоверие к методам работы органов КГБ, да и к ним самим. Все это послужило причиной моего резкого поведения на следствии, поведе-

ния, которое сегодня тоже ставится мне в вину. В других обстоятельствах я попыталась бы доказать следствию, что ни в одном из изъятых у меня произведений и материалов не содержится никакой клеветы на советский строй. Но после всех тех противозаконий, которым меня подвергли на предварительном следствии, я больше не доверяла КГБ и отказывалась участвовать в следствии.

Здесь, на суде, выступавшие против меня свидетели обвинения несколько раз на глазах меняли свои показания, или вовсе отказывались от своих показаний, данных раньше. Я думаю, что это не случайный факт. Во время следствия мне постоянно твердили, что все мои друзья и знакомые дали против меня показания, подтверждающие обвинение, и что мне будет только хуже, если я не перестану отрицать все, в чем меня обвиняют. По-видимому, подобной же обработке подвергались и свидетели, которым, без сомнения, говорилось, что я призналась сама во всем и более нет смысла меня оберегать. Здесь на суде в показаниях свидетелей обвинения фигурировали даже мои частные критические высказывания десятилетней давности, вплоть до недовольства плохим обедом в общественной столовой — и это тоже расценивается как клевета на советский строй! Бывшая заведующая нашей библиотекой *Пешонова* показала, что я неохотно участвовала в организации стендов, посвященных дню рождения Ленина, полету космонавтов и переписи населения, что я отрицательно относилась к некоторым мероприятиям, которые мы должны были проводить по указанию вышестоящего начальства. Что же, я действительно не раз выражала недовольство формализмом и показухой, с которыми более чем часто приходится сталкиваться библиотечным работникам. Но как можно творческое отношение к своей работе называть клеветой на советский строй — мне непонятно.

Здесь на суде говорили свидетели, что круг моих

интересов не ограничивался только художественной литературой. Что ж, и это правда. Меня всегда волновали вопросы гражданского самосознания, борьбы национальных меньшинств против дискриминации, вопросы прав Человека. Почему мой интерес к проблемам гражданского и международного права может быть назван преступным? Кому это угрожает? Меня обвиняют в хранении очерка Ларисы Богораз «История одной поездки», где описывается положение заключенных в мордовских лагерях. Обвинение утверждает, что очерк этот содержит ложные измышления и тем самым клеветает на советский строй. Мне еще не «посчастливилось» увидеть, как живут заключенные в политлагерях, но что такое условия в советской тюрьме, я уже знаю. Эти условия я не могу назвать человеческими. Я сейчас говорю не о чудовищно антисанитарном состоянии камер, не о голодной пище, которая не может насытить никого и не соответствует никаким человеческим нормам. Гораздо страшнее атмосфера постоянной грубости, несмолкающей матерщины, непрерывных унижений, когда каждый и всякий использует любой повод, чтобы словом или жестом показать, что тебя здесь не считают человеком. Ему это нравится. Так, женщины моются в бане, а мужчина-надзиратель заглядывает в глазок. Закрывать глазок мы не имеем права, — за это карцер, а ему не то что позволено рассматривать нас, когда охота, — ему инструкцией вменено в обязанность не спускать с нас глаз!..

Поэтому полагаю, что в очерке Богораз-Брухман не содержится клеветы. Впрочем, мне скоро придется самой испытать условия, описанные ею. Буду рада, если в очерке содержатся «ложные измышления», как это утверждается в моем обвинительном заключении.

Обвинение почти не останавливается на содержании инкриминируемой мне литературы, называя ее «нелегальной» и «клеветнической» лишь потому, что

она напечатана не типографским способом, а на пишущей машинке. Но я глубоко уверена, что ни в стихах К о р ж а в и н а, ни в песнях Г а л и ч а нет никакой клеветы. Это талантливые литераторы, члены Союза писателей, и пишут они о том, что сами пережили и хорошо знают. Они пишут о бывших в эпоху культа личности беззакониях, жестокостях, лагерях. Но ведь эти явления были! Десять лет назад о них писали во всех газетах! О них говорили с трибуны двух партийных съездов! Почему же сегодня эти темы стали запретны, почему говорить об этом сегодня считается преступлением?

Свидетель *Подлипная*, характеризуя мои антисоветские взгляды, показала, что якобы в одном из моих давних разговоров с ней я высказалась о советской литературе оптом, заявив, что это вообще не литература. Я хочу спросить суд, почему он должен верить показаниям этого свидетеля, если факт наличия в моей личной домашней библиотеке большого количества книг советских авторов начисто опровергает это обвинение. Ко многим советским авторам я отношусь с большой любовью, к другим — с меньшей, к третьим — и вовсе без всякого уважения. Думаю, что и большинство нормальных людей имеет в художественной литературе свои привязанности и антипатии, и никто не читает автора только потому, что он советский автор. Никому не придет в голову обвинять человека за его вкусы и склонности. Почему же это инкриминируется мне обвинением как «антисоветские взгляды»? Среди книг моей личной библиотеки, изданных советскими издательствами, находилась также часть литературы, отпечатанной на машинке и пока не изданной. Я собирала эту литературу, исходя исключительно из своих личных интересов и вкусов, и никаких иных целей этим не преследовала. Нам, библиотекарям, хорошо известно, какие жестокие цензурные условия существуют в Советском Союзе и как часто произведения, которые годами из-за сво-

ей идейной порочности не могут пробиться в печать, вдруг становятся самыми популярными и читаемыми. Я могу привести в пример стихи Ахматовой, книги Платонова и Михаила Булгакова, изданные в шестидесятых годах, и другие, увидевшие свет после смерти авторов. Или скажем, произведения еврейского писателя Давида Бергельсона, расстрелянного в 1952 году за «антисоветскую деятельность» и реабилитированного уже через четыре года, в 56-м! Я сказала почти все, что хотела сказать на суде. Я не признавала и не признаю себя виновной в том преступлении, в котором меня обвиняют. Последние события моей жизни убедили меня в том, что права, гарантированные нам советской конституцией и законом, постоянно и сознательно попираются. Для меня лично суд надо мной — лишнее доказательство моей правоты. Видя вокруг, испытывая на себе самой бесправие и беззаконие, чувствую невозможность восстановить поправную справедливость, я решила отказаться от советского гражданства и написала такое заявление на имя Президиума Верховного совета СССР. С этого дня я считаю себя гражданкой Израиля. Я еще раз хочу повторить, что ни в чем не признаю своей вины. Я позволила себе роскошь мыслить и иметь независимое мнение и оказалась на скамье подсудимых. Я не прячусь ни за чью спину. Я ничего не хочу от суда, кроме справедливости.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮОЗАСА ЗДЕБСКИСА

11. 11. 1971

Суд над священником Ю. Здебскисом происходил в г. Пренай (Каунасский район Литвы). По статье 143 УК ЛитССР (нарушение законов об отделении церкви от государства) Здебскис был приговорен к 1 году лагерей общего режима.

О суде над священником Здебскисом см. «Хронику текущих событий» №№ 21, 23 («Вольное слово» №№ 1, 3). — Р е д.

Между двумя законами...

Право на жизнь, когда запрещено рождение.

Я был арестован 16 августа 1971 года за то, что летом того же года обучал нескольких детей Закону Божьему в церкви в Пренае. В протоколе одного из заседаний суда записано: «В церкви находилось около 70 детей с родителями». Я был обвинен в нарушении части I ст. 143 Уголовного Кодекса Литовской ССР, в которой говорится об отделении церкви от государства. Обвинение было мне предъявлено во время ареста.

Как мне объяснить свои действия? Я вынужден повторить тот же аргумент, который я привел, когда группа атеистов, зашедших в церковь, спросила, знаю ли я о том, что обучение детей религии запрещено. И я повторил слова, которые произнесли первые ученики Иисуса Христа перед Синедрионом: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».

1. Следовательно, если я обучаю детей истинам веры, то делаю это согласно наставлению Христа: «Итак идите, научите... Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это наставление обращено ко всем, без различия между взрослыми или детьми. Оно призывает не к изучению образа жизни какого-либо

философа, но к тому, чего хотел Христос, подчеркивая прежде всего Его самую главную заповедь: не считать никого своим врагом. Среди тех, кто выдает себя за истинных знатоков жизни, никто не осмелился взять на вооружение эту заповедь. Даже коммунистическая партия.

2. Католическая церковь закрепила этот завет Христа юридически, включив его в три статьи своего Кодекса канонического права (Codex Juris Canonici, 129, 130, 131).

3. Родители продолжают следовать этому завету, обучая своих детей истинам веры, образу жизни, указанному Христом, и это им принадлежит естественное право воспитывать своих детей. Когда родители хотят обучать своих детей музыке, они обращаются к учителю музыки; математике — к учителю математики, и так далее. Вследствие этого мы, священники, оказываемся между двумя законами.

Можно было бы предположить, что государство, издавая законы, стремится только к благу своих граждан. Но это немислимо без свободы совести, без признания за родителями права воспитывать своих детей. Более того: Советский Союз подписал также и ратифицировал Декларацию прав Человека. Об этом много говорилось год тому назад, в связи с подобным же процессом над священником Шешкявичусом, поскольку этот процесс касался не только отдельного человека, обвиняемого, но всей католической Церкви, как юридического лица. Я полагаю, что бесполезно здесь отмечать, что проблема эта становится уже как бы проблемой определенной географической местности. Однако следует упомянуть о последнем заявлении на эту тему Генерального секретаря Коммунистической партии СССР Брежнева.

Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР по Литовской ССР, Руге-нис, в официальном интервью редактору литовской газеты за границей, Иокубке, подчеркнул, что в

Литве осуществляется полная свобода религии и совести. Он даже заявил, что никто не имеет права ни у кого спрашивать о его религиозных убеждениях. Впоследствии Йокубка описал положение религии в Литве в своей книге «Теву Земе» (Земля отцов), вышедшей в Чикаго. Это положение обсуждалось также и в небольшой брошюре, недавно изданной в Литве по-английски и итальянски «Религия в Литве». Согласно официальной версии, отношение правительства к этому вопросу, — не только в прошлом, но и до недавнего времени — таково, что в Литве практикуется полная свобода религии.

Но свобода католической церкви, поскольку она является юридическим лицом, должна быть не номинальной. Если ее существование разрешено, то из этого следует, что ей должно быть разрешено питаться, дышать и так далее. Если официально признано существование священников, то необходимо считаться с тем, что они исполняют свои главные функции, то есть совершают богослужения, отпускают грехи именем Божиим, и наставляют. Меня, по-видимому, подвергли суду за исполнение того, что является моими прямыми обязанностями. Читая протоколы судебных заседаний, заявления атеистов в различных местах, где я работал, я вижу, что меня обвиняют за то, что я исполнял свой долг. К сожалению, по этому поводу не имеется свидетельства епархиального управления. Может быть, оно тоже считает меня виновным в исполнении моих обязанностей?

Судьям следовало бы ознакомиться с обстановкой, которая несомненно повлияла на мое поведение, предшествовавшее суду: бесчисленные случаи нарушения атеистами или различными правительственными учреждениями закона о свободе совести.

Определение «атеист» я употребляю здесь, как наиболее подходящее для данного случая, потому что атеист — будь это сотрудник органов государственной безопасности, или административного ап-

парата, или народного образования — обычно проявляется одинаково — это борец против Бога. Законы СССР разрешают проблему свободы совести путем отделения Церкви от государства. Однако из-за некоторых атеистов Церковь не чувствует себя отделенной от государства. Наоборот, она подчиняется интересам атеистов. И нередко к этому приводят обман и крючкотворство. По этим же причинам верующие чувствуют себя как бы «вне общества». Они подвергаются дискриминации перед законом. В народе эти факты известны и посему представители республики не должны их обходить молчанием.

Для примера можно привести некоторые факты из наиболее схожих с настоящим процессом.

Прежде всего, верующие замечают свое неравное положение перед лицом закона, неравенство, о котором свидетельствует наличие у атеистов своей печати и школ, в то время как верующие лишены и того, и другого. Если священников наказывают за то, что они подготавливали детей к первому причастию, то интересно было бы знать, состоялся ли хоть один судебный процесс над каким-нибудь атеистом за то, что он нарушил интересы верующих, в частности, на основании дополнения к ст. 143 Уголовного кодекса, изданного в 1966 г. А таких случаев можно было бы привести множество:

а) например, год тому назад учительница средней школы из Вилкавишкиса была отстранена от преподавания за то, что она верующая. Ей не только запретили преподавать, но вообще заниматься каким-либо трудом. Может быть, это не является нарушением свободы совести? А ведь это отнюдь не единичный случай в наших кругах;

б) кроме того, вследствие рвения атеистов, люди, и в особенности молодежь, студенты и руководящие работники, не посещают церковных служб. Разумеется, они чисто инстинктивно чувствуют, что лучший путь к познанию Бога есть наблюдение за

лицом человека, погруженного в искреннюю молитву. Они инстинктивно чувствуют, что то, что мы называем дарованием благодати, так же как и сила веры, неразрывно связаны с богослужением. Поэтому, хотя свобода совести и существует, внутренняя культура людей, в особенности молодежи, не может развиваться. В целом ряде случаев преподаватели не позволяли ученикам, присутствовавшим на похоронах, войти в церковь или же принуждали их выйти. Разве это не есть покушение на свободу совести?

Об этих и подобных фактах, хорошо известных в народе, не могут не знать власти. Почему они ничего не предпринимают? Неудивительно поэтому, что верующие не чувствуют себя равными перед законом. Более того, верующим особенно трудно понять, почему власти ни разу не ответили на их жалобы о существующей дискриминации. Из печати ясно, что соответствующие органы власти должны отвечать на любые заявления в течение одного месяца. Реакция верующих на настоящий судебный процесс тоже может служить примером. Летом этого года, когда дети обучались в церкви истинам веры, в церковь вошла группа атеистов, детей тайком сфотографировали и записали их имена. Матери поднялись на защиту своих детей. В церкви произошли беспорядки. Принимая во внимание психологию людей, немного не хватало, чтобы повторилось нечто подобное событиям в Кражяе, как это было во времена царского гнета.

После этого инцидента родители 69 детей обратились с жалобой в Комиссию партийного контроля при Центральном Комитете Коммунистической партии Литовской ССР. Однако ответа не было, несмотря на то, что были даны адреса всех подписавшихся.

Перед лицом подобных фактов невольно возникает вопрос: почему община верующих остается вне закона? Способствует ли такое положение уважению

к конституции? Дóлжно ли удивляться тому, что у людей возникает мнение, что конституция, гарантирующая свободу совести, а также ратификация Декларации прав Человека — служат чисто пропагандным целям? Дополнение к ст. 143 Уголовного кодекса, изданное в 1966 году, также звучит как чистая пропаганда (наказания за нарушение свободы верующих); такое же впечатление производят интервью Ругениса Йокубке, издание «Теву Земе», «Религия в Литве» и другие статьи, в которых содержатся рассуждения о свободе совести. Видя все это, почему республиканские власти не вмещиваются? Неужели существуют тайные законы, противоречащие официальным и неизвестные народу?

Но продолжим.

Ряд фактов в поведении атеистов свидетельствует о покушениях на свободу совести. Почему ничего по этому поводу не делается? Поведение атеистов по отношению к общине верующих почти в точности напоминает поведение герцога Глостерского, описанное в XV веке Шекспиром. Претендуя на английский трон, он тайком умертвил всех своих соперников, а к народу выходил с молитвенником в руках.

1) Разве не обманным путем нарушается свобода совести, когда, вследствие уловок атеистов, только тем людям, которых они сами выдвигают, разрешается получить образование в Риме или стать кандидатами в епископы? Какая иная цель может скрываться за подобными манипуляциями, как не предательское намерение разрушить церковь изнутри, в той самой стране, конституция которой гарантирует свободу совести, и когда всему окружающему миру пытаются внушить что епископы по праву занимают свои места, и все предписания исходят от епархиальных управлений, в то время как в действительности все перемещения священников и все распределения постов диктуются атеистами? Таким образом, положение католической церкви в

Литве становится подобным положению православной церкви.

2) Разве это не преступно — компрометировать в глазах верующих и Ватикана определенных священников и даже епископов? Может быть, верующие виноваты в том, что Его Преосвященство, епископ Сладкявичус, энергичный человек с прекрасным здоровьем, был упомянут в Ежегоднике Папской канцелярии как «*sedi datus*»?

3) Разве это не чистый обман — существование только одной семинарии для обучения священников, в которую разрешается принимать, и поэтому рукополагать, только четырех-пяти священников в год, в то время как за тот же период умирает в Литве от двадцати до тридцати священников? А что же сказать о тех манипуляциях, которые производятся, чтобы помешать студентам и преподавателям, отличающимся особыми способностями и прекрасным образованием, поступать в семинарию?

4) То же самое относится и к обучению детей. Разве не подлог разрешать первое причастие и в то же время требовать, чтобы дети готовились к нему по-одному (хотя в этой связи нет специального закона)? Как можно подготовить каждого ребенка в отдельности в тех приходах, куда во время летних каникул они приходят сотнями? В этих случаях родители, совершенно понятно, ожидают помощи от священников. Но что мы можем сделать? Позволить, чтобы дети шли к первому причастию неподготовленными? Нельзя любить того, чего не знаешь. Может быть, за подобными предписаниями даже не скрывается намерения удалить детей от влияния родителей? Тогда атеисты могли бы сказать: «У нас есть свобода совести. Народ сам отказывается от религии». Таким образом религиозная свобода походит на разрешение жить, за исключением только того, что запрещается родиться...

Уважаемые судьи, я думаю, что вы, как и большинство людей нового поколения, знаете о Боге

только из таких книг, как «Забавная библия» и других подобных изданий, а не от Того, Кто умер за нас на кресте. Кто знает, сможете ли вы сегодня, несмотря на то, что обладаете высокими познаниями в вашей специальной области, сдать хотя бы такой же экзамен по религиозным вопросам, какой сдают дети накануне своего первого причастия? Если мы учтем все это, и в особенности то, что вы, по словам Рахманова, являетесь творениями новой фабрики человека, мы должны простить вам и этот суд, и молить Бога о прощении вам грехов. В тот день, когда в церкви произошли беспорядки, о которых я говорил ранее, я сразу же после них спросил детей: «Дети, должны ли мы ненавидеть этих людей?» и они ответили: «Нет». — «Каков главный завет Иисуса Христа?» — «Не считать никого своим врагом», — гласил ответ.

Возможно ли, чтобы об этих и других фактах, из которых мы выбрали для примера только несколько, известных всему народу, республиканским властям было невдомек? Почему это происходит? Почему я обвинен и судим за нарушение свободы совести? Как можно наказывать человека за нарушение юридических предписаний, которые не соблюдаются, как мы видели, даже правительственными учреждениями? Разве сам факт, что подобный процесс против священника имеет место, не является преступлением против свободы совести, как и попытка удалить детей от влияния родителей? Вероятно, можно было бы обвинить священника в нарушении свободы совести, если бы он делал это без ведома родителей. Но возможно ли, что само государство презрело законы, провозглашенные конституцией, — раз оно терпит все это?

Если рассмотреть конкретные факты, то создается впечатление, что статья, на основании которой меня судят, довольно туманна. Я хочу напомнить о подобном процессе в 1964 году, во время которого я был приговорен к году тюрьмы за религиозное

обучение детей. Через несколько месяцев пришло правительственное предписание освободить меня и реабилитировать. В нем значилась следующая мотивировка: «Было установлено, что по отношению к детям не было применено никакого насилия». Но суду это было известно и ни в приговоре, ни во время судебных заседаний не было ссылок на то, что детей принуждали. Во время процесса ст. 143 Уголовного кодекса была истолкована следующим образом: «Запрещается организация и обучение религии в школе» (но не в церкви!). И хотя мне этого нельзя было поставить в вину, тем не менее суд вынес мне приговор. Как это объяснить? Кроме того, если в конце концов я был оправдан, то почему же меня снова судят на основании той же статьи? Жалоба родителей правительству СССР свидетельствует о том факте, что дети обучались не в школе, а в церкви, и по желанию самих родителей.

Закон не может толковаться при одних и тех же обстоятельствах один раз так, а другой раз иначе.

Точно так же мне не удалось выяснить, когда и где эти «инструкции» по применению законов были опубликованы, потому что ни следователь, ни Коллегия адвокатов г. Вильнюса не дали ответа на мой запрос.

Какие же выводы можно сделать из всего вышеизложенного? Если посмотреть на все эти события с чисто человеческой и довольно ограниченной точки зрения, хочется повторить слова Христа: «Авва Отче, пронеси чашу сию мимо меня». Мы, священники, должны благодарить вас за этот и за подобные судебные процессы. Они заставляют говорить нашу совесть, не дремать, быть решительными. Вы оставляете нам две возможности.

Первая: Быть священником в духе Христа, то есть решить исполнять обязанности, наложенные Им, по законам Церкви, и быть готовым принять все, что Провидение ниспошлет нам.

Вторая: Выбрать путь так называемого «мирного сосуществования с атеистами», пытаться приспособиться. Пытаться служить двум господам. Согласиться на предписания атеистов. Оставаться законными священниками, но не выступать против атеизма. Гнать молодежь из церкви, чтобы она не посещала богослужений. И, наконец, не призывать их посещать богослужения, ибо это запрещено...

Готовя детей к первому причастию, удовлетворяться тем только, что они знают молитвы, без понимания святого таинства, сущности христианства и без мысли о том положении, которое наступит в нашей стране через десять или двадцать лет. Это означает: не исполнять в действительности обязанностей священника, войти в конфликт со своей совестью, думать только о том, что сегодня подадут к обеду, и забывая, что говоришь детям о Боге, но о Боге, который фактически не существует. Я лично не верю в того Бога, которого они стараются представить теперь в их печати и радио.

Вы привлекли ко мне тысячи молодых людей за решетку. Ни один из них не знает, какого Бога мы должны любить и какой Бог любит нас. Никто вообще никогда не говорил с ними о таком Боге. Никто не учил их искать счастья в добре, которое надо делать каждому, даже врагу. Я знаю очень хорошо, что если мы, священники, не будем говорить молодежи об этом — то камни об этом возопят. И Бог спросит с нас за их судьбу!

Вот что означает в наших кругах «мирное сосуществование с атеизмом», и то, чего верующим за границей просто не понять.

И разве не атеисты ответственны за все это?

Однако процесс надо мной показал, что есть и другой выбор: зарешеченное оконце и следовательно, который вам скажет: «Вы не захотели вкушать яств, да будет вам сухой хлеб!»

Но если сегодня нас не будут судить судьи, то завтра мы предстанем перед судом народа!

В конце концов наступит час Страшного суда.

И этого суда, да поможет нам Бог, мы, священники, страшимся гораздо более, нежели ваших процессов!

Мои мысли обращаются к тысячам молодых людей за решеткой. Они были неспособны в детстве слушаться своих родителей... Я люблю землю на берегах Немана. Но я знаю, что она исчезнет, если дети не будут слушать своих родителей...

Но если все это, согласно вашей совести, составляет преступление, то считайте меня фанатиком и судите меня, но в то же время судите и самих себя.

Я прошу суд принять во внимание психологические обстоятельства, о которых я упоминал, и не забывать, что приговор может побудить верующих считать статьи конституции чистой пропагандой. Как может закон внушать уважение, если он приводит человека к конфликту с его совестью? Как может быть уважение к закону, если он наказывает человека за осуществление его прямых обязанностей?

«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29).

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАДЕЖДЫ ЕМЕЛЬКИНОЙ

25. 11. 1971

Суд над Н. Емелькиной происходил в Москве. По обвинению в изготовлении и распространении клеветнических сведений, порочащих советский государственный и общественный строй (ст. 190 УК РСФСР), она была приговорена к 5 годам ссылки. На суде Н. Емелькина заявила, что ее последним словом является текст листовки, которую она распространяла.

О суде над Н. Емелькиной см. «Хронику текущих событий», выпуск 23 («Вольное слово» № 3). — Р е д.

За последние годы в СССР арестованы и осуждены сотни людей за отстаивание своих убеждений, за требование свободы слова, гарантированной Конституцией СССР. Осужденные содержатся в Мордовских лагерях — п/я ЖХ-385, Мордовская АССР (ст. 70 УК РСФСР), в лагерях для уголовников (ст. 190 УК РСФСР); или к осужденным применяются нацистские методы — помещение здоровых людей в специальные психиатрические тюрьмы на принудительное лечение на неопределенный срок.

Граждане! Знайте, что в вашей стране по сей день продолжают арестовывать людей за убеждения, как в страшные сталинские времена.

Надежда Емелькина,
25 лет, рабочая, Москва.

27 июня 1971 г.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА БУКОВСКОГО

5. 1. 1972

Второй суд над В. Буковским состоялся в Москве. По обвинению в антисоветской агитации и пропаганде В. Буковского приговорили к 2 годам тюрьмы, 5 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки, то есть всего — к 12 годам лишения свободы.

О суде над В. Буковским см. «Посев» №№ 1-3/1972; «Хронику текущих событий» №№ 21-24 («Вольное слово» №№ 1-4). — Р е д .

Граждане судьи!

Я не буду касаться юридической стороны обвинения, потому что я в зале суда уже доказал полностью его несостоятельность. Адвокат в своей речи также доказал полную несостоятельность обвинения, и я согласен с ним по всем пунктам защиты.

Скажу другое: расправа надо мной готовилась уже давно, и я об этом знал. 9 июня меня вызвал прокурор Ванькович и угрожал расправой; потом появилась статья в газете «Правда» под заголовком «Нищета антикоммунизма», которую почти целиком процитировала в своей речи прокурор. Статья содержала в себе обвинение, что я за мелкие подачки продаю в подворотнях иностранным корреспондентам клеветническую информацию.

И, наконец, в журнале «Политическое самообразование» № 2 за 1971 г. была помещена статья зам. председателя КГБ С. Цвигуна, в которой также говорилось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью. И совершенно понятно, что маленький следователь, проводя следствие по моему делу, не мог пойти против своего начальника и вынужден был во что бы то ни стало попытаться доказать мою вину.

Перед арестом за мной была установлена настоящая слежка. Меня преследовали, мне грозили убийством, а один из тех, кто за мной следил, распоясался настолько, что угрожал мне своим служебным оружием. Уже будучи под следствием, я заявил ходатайство о том, чтобы против этих лиц было возбуждено уголовное дело. Я даже указал номер служебной машины, на которой эти люди ездили за мной, и привел другие факты, которые давали полную возможность для их розыска. Однако на это ходатайство я не получил ответа от тех инстанций, куда его направлял. Зато от следователя был получен ответ весьма красноречивый: «Поведение Буковского на следствии дает основание для обследования его психического состояния».

Следствие велось с бесчисленными процессуальными нарушениями. Можно сказать, что не осталось ни одной статьи в УПК, которая не была бы нарушена. Следствие пошло даже на такую позорную меру, как помещение со мной в тюрьме камерного агента, некоего Трофимова, который сам признался мне, что ему было поручено вести со мной провокационные антисоветские разговоры с целью спровоцировать меня на аналогичные высказывания, за что ему было обещано досрочное освобождение. Как видите, то, что мне инкриминируется как преступление, некоторым людям прощается, если этого требуют «интересы дела».

Я посылал об этом жалобы в различные инстанции и требовал сейчас, на суде, приобщить их к делу, но суд «постеснялся» это сделать.

Что касается следователя, то он, вместо того, чтобы рассмотреть эту жалобу и дать мне ответ, направил меня на стационарное медицинское обследование в Институт судебной психиатрии им. Сербского.

Следственному отделу УКГБ очень хотелось, чтобы я был признан невменяемым. Как удобно! Ведь дела за мной нет, обвинение строить не на чем, а

тут не надо доказывать факта совершения преступления, просто человек — больной, сумасшедший...

И так бы оно все и произошло. И не было бы сейчас этого судебного разбирательства, и не было бы моего последнего слова: меня осудили бы заочно, в мое отсутствие... если бы не оказало влияние интенсивное вмешательство общественности. Ведь после первого срока экспертизы — в середине сентября — врачебная комиссия обнаружила у меня зловещую неясность психической картины, и по вопросам врачей, обращавшихся ко мне после этого, я понял, что меня собираются признать невменяемым. И только 5 ноября, после давления, оказанного общественностью, новая медицинская комиссия признала меня здоровым. Вот вам достоверное доказательство моих утверждений (которые здесь, в суде, называют клеветническими), как по указанию КГБ чинятся психиатрические расправы над инакомыслящими.

У меня есть и другое доказательство этого. В 1966 году меня восемь месяцев, без суда и следствия и вопреки медицинским показаниям о моем психическом здоровье, держали в психиатрических больницах, переводя по мере выписки врачами из одной больницы в другую.

Итак, 5 ноября я был признан вменяемым, и меня вновь водворили в тюрьму, и процессуальные нарушения продолжались. Грубо было нарушено окончание следствия с выполнением 201 статьи УПК РСФСР. Я требовал, чтобы мне был предоставлен избранный мною адвокат. Но следователь мне в этом отказал и подписал 201 статью один, да еще написал при этом, что я отказался ознакомиться с делом.

В соответствии со своим правом на защиту, предусмотренным ст. 48 УПК РСФСР, я потребовал пригласить для своей защиты в суде адвоката Каминскую Дину Исаковну.

С этой просьбой я обратился к председателю Президиума Московской коллегии адвокатов и получил

его отказ с резолюцией: «Адвокат Каминская не может быть выделена для защиты, так как она не имеет допуска к секретному делопроизводству». Спрашивается, о каком секретном делопроизводстве может идти речь, когда меня судят за антисоветскую агитацию и пропаганду? И все же, где, в каких советских законах упоминается об этом пресловутом «допуске»? Нигде.

Итак, адвокат мне предоставлен не был. Более того, вышеупомянутый ответ из коллегии адвокатов, с которым я был ознакомлен и на котором имеется моя подпись, был из дела изъят и возвращен в коллегию адвокатов, о чем в деле имеется справка. Взамен его был вложен другой, вполне невинный ответ председателя коллегии, с которым я ознакомлен не был. Как это можно расценивать? Только как служебный подлог.

Потребовалась моя 12-дневная голодовка, жалоба Генеральному прокурору СССР, в Министерство юстиции СССР и в ЦК КПСС, а также новое активное вмешательство общественности, чтобы мое законное право на защиту было, наконец, осуществлено и мне был предоставлен приглашенный моей матерью адвокат Швейский.

Сегодняшнее судебное разбирательство велось также с многочисленными процессуальными нарушениями. Обвинительное заключение, в котором 33 раза употребляется слово «клеветнический» и 18 раз слово «антисоветский», не содержит в себе конкретных указаний на то, какие же именно факты из сообщенных мною западным корреспондентам являются клеветническими и какие именно материалы из изъятых у меня при обыске и якобы распространяемых мною являются антисоветскими.

Из девяти ходатайств, заявленных мною в начале судебного разбирательства и поддержанных моим адвокатом, восемь было отклонено. Никто из заявленных мною свидетелей, которые могли бы опро-

вергнуть различные пункты обвинения, судом вызван не был.

Мне инкриминирована, в частности, передача антисоветских материалов прилетевшему в Москву фламандцу — Гуго Себрехтсу. Эти материалы якобы передавались ему мною в присутствии Вольпина и Чалидзе. Однако мое требование о вызове этих двух людей в качестве свидетелей — не было удовлетворено. В суд не был вызван, далее, ни один человек из 8 названных мною, которые могли подтвердить истинность моих утверждений относительно фактов помещения и условий содержания людей в специальных психиатрических больницах. Суд отклонил мое ходатайство о вызове этих свидетелей, мотивировав это тем, что они душевнобольные и не могут давать показаний. Между тем, среди этих людей есть двое — З. М. Григоренко и А. А. Файнберг, которые никогда не помещались в спецпсихобольницы, а бывали в этих больницах только в качестве родственников и могли бы подтвердить мои показания об условиях содержания в этих больницах.

В суд были приглашены только те свидетели, которых представило обвинение. Но что же это были за свидетели? Так, ко мне подсылался перед моим арестом, по всей вероятности сотрудниками КГБ, военнослужащий войск госбезопасности, ныне работающий в отделе таможенного досмотра на Шереметьевском аэродроме, мой бывший школьный товарищ, некий *Никитинский*, которому было поручено спровоцировать меня на преступление — организацию ввоза из-за границы оборудования для подпольной типографии. Но незадачливому провокатору осуществить это не удалось. Тогда следствие, а затем и суд попытались сделать его свидетелем по этому пункту обвинения. Мы видели здесь, что Никитинский не справился и с этой задачей.

Для чего же потребовались все эти провокации и грубые процессуальные нарушения, этот поток кле-

веты и ложных бездоказательных обвинений? Для чего понадобился этот суд? Только для того, чтобы наказать одного человека?

Нет, тут «принцип», своего рода «философия». За предъявленным обвинением стоит другое, непредъявленное. Осуждая меня, власти преследуют здесь цель скрыть собственные преступления, психиатрические расправы над инакомыслящими.

Расправой надо мной они хотят запугать тех, кто пытается рассказать об их преступлениях всему миру. Не хотят «выносить сор из избы», чтобы выглядеть на мировой арене такими безупречными защитниками угнетенных!

Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен сталинщины. Но процесс духовного прозрения общества уже начался, остановить его невозможно. Общество уже понимает, что преступник не тот, кто выносит сор из избы, а тот, кто в избе сорит. И сколько бы мне ни пришлось пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений и буду высказывать их, пользуясь правом, предоставленным мне ст. 125 советской Конституции, всем, кто захочет меня слушать. Буду бороться за законность и справедливость.

И сожалею я только о том, что за этот короткий срок — 1 год 2 месяца и 3 дня, — которые я пробыл на свободе, я успел сделать для этого слишком мало.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КРОНИДА ЛЮБАРСКОГО

30. 10. 1972

Суд над астрофизиком, кандидатом физико-математических наук К. Любарским состоялся в г. Ногинске Московской области. По статье 70 УК РСФСР Любарский был приговорен к 5 годам лагерей строгого режима.

О суде над К. Любарским см. «Посев» № 12/1972; «Хронику текущих событий», выпуск 28; «Хронику защиты прав в СССР», выпуск 1. — Р е д .

Я не юрист. О юридической стороне дела здесь много говорил адвокат. Ко многим вопросам я буду подходить с позиции «простодушного» — с точки зрения здравого смысла. Я не коснусь многих вопросов. О конкретных эпизодах, фактах обвинения я буду говорить очень мало, буквально несколько слов. Но, как уже заметил адвокат, обвинение в полном объеме требует изменений. Прокурор полностью поддерживает обвинение, в то время как в нем имеется по крайней мере 37 неточностей. Кстати, 5 из них исчезло после показаний П о п о в а. Осталось не так много — всего 32. Я думаю, что повторять этот список не имеет смысла... Разобраться в этом — дело суда. Я полагаю, что суд, в отличие от прокурора, учтет это. Ибо речь идет о том, чтобы, как сказал прокурор, в судебном заседании было все детально исследовано. Я полагаю, что эти исследования найдут свое отражение в решениях суда. Они, правда, не нашли никакого отражения, к сожалению, в речи прокурора.

А там есть вещи поразительные. Есть эпизоды, которые ниоткуда не взяты: ни мною не высказаны и не подтверждены свидетелями, — а тем не менее они представлены так, что якобы и я их высказал, и якобы они подтверждены свидетельскими пока-

заниями. Речь идет об эпизодах, связанных с Поповым, Владимирским.

Буквально два слова о том, чему так много внимания уделил прокурор, а именно — об источниках получения самиздатской литературы. Нет, гражданин прокурор, отнюдь не голые декларации я имел в виду. В моем заявлении, переданном суду*, есть интересующие вас и место, и время, и обстоятельства. И я всего этого не говорил только по той простой причине, что действительно — в чем вы совершенно правы — для квалификации моих действий это никакого значения не имеет. А вот что касается Шихановича, которого вы категорически считаете источником, — то ни места, ни времени, интересующих вас, нет ни в материалах предварительного следствия, ни в материалах судебного следствия.

В конце концов, речь должна идти в первую очередь не о фактах, не о конкретных эпизодах. Не здесь лежит основное разграничение моего разногласия с обвинительным заключением. Не в том, будет ли тот или иной эпизод включен в обвинение. Как бы ни квалифицировать происходящее здесь — по статье 70, как предлагает прокурор, или по статье 190, как просит адвокат, — главный вопрос, который придется решать, — вопрос о степени криминальности тех или иных произведений. К сожалению, в тексте законов нет четких признаков, по которым то или иное произведение может быть названо криминальным, и поэтому приходится признать, что имеется весьма и весьма широкий диапазон признаков на этот счет. В частности, степень криминальности зависит от географии. Например, у меня при обыске были изъяты такие произведения, как «Рек-

* В заявлении, переданном Любарским в начале судебного заседания, говорится, что часть литературы была им получена от А. Вольпина. На предварительном следствии Любарский не назвал это лицо по моральным соображениям. В настоящее время Любарскому стало известно, что А. Вольпин покинул Советский Союз, потому он счел возможным назвать этот источник.

вием» Ахматовой, «Наследники Сталина» — фрейдистский анализ романов Кочетова и Шевцова. Мне они не инкриминируются. В Одессе же Р. П а л а т н и к «Реквием» был инкриминирован, а «Наследники Сталина» были инкриминированы М е л ь н и к у — при этом не только тот самый документ, но даже и тот самый экземпляр. Как видите, имеется противоречие в применении закона в зависимости от географии: Одесса, Ленинград, Москва.

И со временем меняется дело. Вы знаете, что многие авторы: Бабель, Пильняк — еще некоторое время назад считались антисоветскими. У меня при обыске изъято «Письмо Раскольникову Сталину», которое раньше было криминалом номер один, а теперь известно как высокопатриотический документ. Все это я говорю к тому, что приходится все время, к сожалению, быть очень осторожным, именно в силу неточности оценок: что же считать криминальным?

За время моего, так сказать, общения с Самиздатом мне трижды попадались в руки весьма своеобразные издания. Это книга Франсуа Фейто под названием «Венгерская трагедия», это книга Тома Клиффа «Сталинистская Россия», это книга Рассела Гренфелла «Ненависть прежде всего». Если бы все эти книги были у меня изъяты в машинописном исполнении, то я не сомневаюсь, что по крайней мере две из них вошли бы в текст обвинительного заключения как книги антисоветские. Но вот в чем дело: книги изданы издательством «Иностранная литература» — все три, но с номерами и с грифом «запрещенная литература». Спрашивается: для кого запрещенная? Очевидно, не для тех, для кого она издана. То есть есть круг лиц, который может и даже должен их прочитать. Очевидно, что остальные граждане Советского Союза считаются недостаточно грамотными для этого. Но допустим так. А вот такой вопрос. В свое время Госполитиздатом была выпущена знаменитая книга Г. Уэллса «Россия

во мгле», на каждой странице которой есть антисоветские измышления, порочащие советский общественный и государственный строй, на каждой странице. Выход найден очень простой: книге предпослано предисловие, где сказано, что советский читатель сам сможет разобраться, где здесь правда и где здесь ложь...

Значит, дело не только в том, какие факты и какие оценки приводятся в том или ином произведении. Ведь формально, строго говоря, в законе нет никаких оговорок на этот счет, значит, речь идет не только о том, что, но и прежде всего, с какой целью данное лицо или организация читает или распространяет ту или иную литературу. Вот здесь-то и лежит водораздел понимания того, как относиться к происходящему. Именно здесь, и нигде больше.

Так вот, какие же мотивы руководили мною? Обвинение отвечает очень коротко: действия в целях подрыва и ослабления советской власти. Обвинение, освещая эти мотивы, сообщает цитаты из текста закона и ничего больше. Но почему? С какой целью то или иное лицо — конкретно, я — с точки зрения обвинения, начинает читать, а тем более распространять Самиздат? Я думал, что прокурор выскажется в своей обвинительной речи по этому поводу. Много о чем можно было бы говорить. Но этого нет. По той простой причине, что мотив о подрыве и ослаблении советской власти — это миф, ничем не подтвержденный.

Какие же гипотетические мотивы могло бы придумать обвинение, пусть даже необоснованные? Какие могут быть гипотезы? Ну, очевидно, первая гипотеза напрашивается проще всего. Якобы, я мечтаю о том, чтобы советская власть была уничтожена, жить при капитализме, фабрику завести, иметь ренту... И свидетели, здесь прошедшие, и лица, которые меня знают, могут подтвердить, что меня лично всю жизнь материальные блага меньше всего интересо-

вали. Поэтому в мое желание восстановить капитализм никто не поверит.

Но может быть, мной руководил расчет на сенсацию? Но я не выходил на демонстрации, не писал писем протеста, не писал никаких сочинений. То есть и эта сторона меня тоже не интересует, и этот мотив отсутствует.

Что же еще можно придумать? Чего, собственно, я добивался? Так вот, это остается неясным. По-видимому, это не первый случай такого непонимания и, можно думать, не последний. Однако рано или поздно понять это будет необходимо. Я пытался объяснить это во время допроса. Меня прерывали, и я не мог осветить это достаточно ясно. Я постараюсь это сделать сейчас.

Во время допроса я начал говорить, что имеется целый ряд серьезных отрицательных явлений нашей жизни, привлекающих мое внимание. Меня прокурор спрашивал, как все это можно совместить с нашими успехами в жилищном строительстве. Чтобы раз и навсегда выяснить этот вопрос, я скажу так. Мне известны наши достижения в жилищном строительстве, известны мне и наши успехи в ракетостроении. Хорошо известны. А также мне известно, что мы перекрываем Енисей и перекрыли Ангару, и наши успехи в области балета мне тоже известны. Если уж говорить о том, что я распространял, — пожалуйста, могу вам сказать: в тех статьях, которые я написал, в тех лекциях, которые я читал, в тех кинофильмах, которые я консультировал, я очень много уделял внимания нашим положительным сторонам и успехам. Более того, я думаю, что и мой вклад в эти успехи есть, пусть маленький, но есть. Когда я уже находился в следственном изоляторе и читал статью в «Правде» о результатах исследования Марса советскими автоматическими станциями «Марс-2» и «Марс-3», я гордился, что, хотя меня и посадили, я еще работаю... Что уж тут говорить об успехах в жилищном строительстве?..

Но все это не снимает того, что в нашей действительности есть и серьезные недостатки. Очень серьезные. И патриотизм заключается не в том, чтобы не замечать их, а в том, чтобы видеть их ясно. Сейчас не место их подробно анализировать. Я просто в двух словах могу сказать, о чем здесь идет речь. О серьезности экономических проблем, об узости экономической реформы, о том, что наука у нас, к сожалению, находится в изоляции от мировой науки и техники. О том, что со страниц печати исчезли упоминания и даже термин «культ личности», о том, что цензурные ограничения стали неоправданно тяжелыми, о том, что обострился национальный вопрос, о том, что увеличилось количество судебных процессов по политическим мотивам. Но особенно сильно все это стало восприниматься тогда, когда наступил 1968 год — год событий в Чехословакии. Не только для меня лично, но и для многих моих знакомых и вообще для многих людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, это был тяжелый удар. И вызвал очень сильный шок.

Так вот, ответ на все эти проблемы, и перечисленные мною, и не перечисленные, я пытался найти в прессе. И не мог.

Одновременно с этим все чаще и чаще приходится сталкиваться с другим источником информации, с явлением, которое известно под названием «Самиздат». К нему можно по-разному относиться. Можно осуждать, можно хвалить... Но как к нему ни относишься, оно есть. Если подходить к вопросу диалектически, нужно понимать, что ничто в обществе не возникает просто так. Есть некое явление, плохое или хорошее, но уже возникшее... И каждый должен понимать, что привело к этому явлению. Сейчас это явление стало массовым. Оно стало уже социальным явлением. Я просмотрел академические иностранные словари и обнаружил, что во многие из них из русского языка проникло новое слово «самиздат». Мне кажется, что радоваться этому не

приходится. Особенно, если учесть, что другим словом, которым обогатил русский язык другие языки за 10 лет до этого, — было слово «спутник»...

Так вот, Самиздат меня привлек с двух точек зрения. Во-первых, хотя бы потому, что я привык мыслить по-марксистски и понимаю, что это явление требует изучения и анализа.

Я хотел бы узнать, что такое Самиздат, каковы социальные корни этого явления, для чего и почему оно возникло. И второе: если я не нахожу ответа на те или иные вопросы на страницах официальной печати, то естественно искать их на страницах Самиздата. Вот те мотивы, которые меня привлекли к Самиздату.

Не случайно я говорил здесь о научно-технической интеллигенции. Это та самая интеллигенция, о которой прокурор сказал, что она не производит материальных ценностей. Гражданин прокурор, вы опоздали на двадцать лет! Вы прозевали такую вещь, как научно-техническая революция, которая лицо мира изменила!

Я мог бы — но не стану этого делать — привести десятки книг социологов и экономистов, которые показывают, что же принесла научно-техническая революция, в которых говорится, что в промышленно развитых странах в настоящее время 75% прироста национального дохода обусловлено не расширением производственных фондов, а расширением применения знаний, уровнем знаний, за счет труда интеллигенции. Я не буду этого делать. Я мог бы привести многие статьи и работы марксистских философов, но я приведу только один источник — «Программу КПСС», в которой сказано, что характерной чертой переживаемого нами периода является то, что наука стала непосредственной производительной силой. Непосредственной, гражданин прокурор. Этот документ пора бы знать, пора бы знать «Программу КПСС», прежде чем высказываться...

Судья: Вы должны обращаться не к прокурору, а к суду.

Любарский: Прошу прощения.

Так вот почему я заинтересовался этим делом, этой проблемой. В самой природе научного работника — стремление составить собственное мнение о проблеме, если он серьезно заинтересовался ею. Говоря здесь о чтении той или иной литературы, прокурор предлагал мне птичками отметить, что нужно и что не следует читать. Для меня это звучит странно. Научный работник не может то или иное мнение брать со стороны. Суть научного работника: самому все узнать. В этом смысле идеалом научного работника был Маркс. И не только в этом. Вы знаете, что в ответ на анкету дочерей, Маркс сказал: «Мой любимый лозунг — «Все подвергать сомнению». Я думаю, что для меня и людей моего поколения эта мысль Маркса была тем легче, что мы воспитывались в особое время. В то время, когда кибернетика была лженаукой, в то время, когда генетика была объявлена фашиствующей, в то время, когда теория относительности была «идеалистическим вывертом». Это было время, когда вся философия — «суть философии всей», по словам Гейне, — вмещалась в четвертую главу «Краткого курса истории ВКП (б)», вся экономическая теория заключалась в «Экономических проблемах социализма» Сталина, и не дай Бог в сторону... Так вот, такое воспитание принесло плоды. И я не буду никому верить на слово. Ни позже, ни сейчас. Но вот конкретный пример. Мне инкриминируется книга Джиласа «Новый класс». Об этой книге много писала зарубежная пресса. Писала и наша пресса. И «Литературная газета» опубликовала несколько ругательных статей. Ну и что же? Узнав из этих статей, что книга антисоветская, антисоциалистическая, я должен был принять это на веру и не читать, не интересоваться? Нет, конечно, я слышал, что она претендует на новое слово в теории. Хоро-

шо, дайте мне эту книгу самому почитать. Меня это интересует. Я достаю эту книгу и читаю. Да, я убедился, что с точки зрения теории там, как говорится, кот заплакал, в этом смысле хилая книжка, и действительно написана с вражеских позиций. Но это я должен был увидеть сам и только сам. И тот факт, что книга эта не пропущена в печать, еще не является достаточно квалифицирующим признаком того, что эта книга враждебна.

В Самиздате есть много книг безусловно ценных, важных, нужных, которые принесут огромную пользу, хотя на них нет никакого грифа. Это социологические исследования Жореса Медведева, исторические труды Роя Медведева, статьи по правовым вопросам Чалидзе, философские труды Померанца. И художественная литература: Пильняк, Цветаева, Мандельштам, Ахматова. Кстати, Твардовский, недавно скончавшийся, тоже обогатил Самиздат своей поэмой «По праву памяти», изъятой у меня. Так вот, тот факт, что та или иная литература еще не издана и не имеет штампа Главлита, еще не является квалифицирующим признаком ее антисоветской направленности. Неслучайно из огромного количества изъятой у меня литературы* только десятая доля вошла в обвинительное заключение. Только десятая доля сочтена криминальной. Все остальное оказалось некриминально. Даже по мерке обвинения, я уже не говорю о сути. Но даже по мерке обвинения...

Обвинение пыталось представить меня как лицо, которое поставило себе одну-единственную цель: распространять враждебную литературу. Можно ли с этим согласиться?

Информация — это хлеб научного работника. Как крестьянин работает с землей, рабочий — с металлом, — так интеллигент работает с информацией. Составить свое независимое мнение можно только

* Всего было изъято свыше 500 наименований, из которых в обвинительное заключение вошло 55.

владея информацией. Например, важно знать все обстоятельства прихода Сталина к власти, ибо уроки истории учат. Но нет книг на эту тему на прилавках магазинов — и вот я должен обратиться к Авторханову. Хотелось бы читать о политических судебных процессах на страницах газет, но нет таких материалов в газетах — и вот я обращаюсь к «Хронике». А что вы можете мне предложить взамен?

Вот те мотивы, которые привели меня к Самиздату.

Нормально ли явление Самиздата? Разумеется, нет. Это болезненное явление. При нормальном развитии общества все вопросы, обсуждаемые в Самиздате, должны рассматриваться на страницах газет. Только в ненормально развивающемся обществе больные вопросы загоняются в подполье, обсуждению их придается оттенок нелегальности. Атмосфера нелегальности придает Самиздату ряд отрицательных черт. Именно нелегальность питает подчас экстремизм, иногда проявляющийся в Самиздате. Именно нелегальность делает Самиздат особенно привлекательным для тех сил за рубежом, которые отнюдь не заинтересованы в демократическом развитии нашей страны, а преследуют свои корыстные цели. На Самиздате играют те, кто не заинтересован в устранении ошибок в нашем отечестве. Они на нем паразитируют. Правда, не следует преувеличивать эту опасность. Не надо считать, что враждебные силы — это инстанция, приговор которой непрекаем. История знает несколько примеров их просчетов. Например, германское правительство рассчитывало, что, пропуская Ленина в запломбированном вагоне через Германию, оно улучшит, вследствие большевистской пропаганды, свое военное положение на восточном фронте. А что они получили взамен? — Ноябрьскую революцию в Баварии как эхо Октябрьской революции. Враждебные силы ошибутся и сейчас. Демократизация не ослабит, а усилит

позицию социализма в нашей стране. В 20-х годах вокруг нашей страны был установлен знаменитый «санитарный кордон», дабы воспрепятствовать проникновению идей из нашей страны на Запад. Неужели мы теперь сами будем устанавливать подобный «санитарный кордон»? Неужели теперь мы боимся? По опыту своих выступлений на антирелигиозные темы я знаю, что не имеет успеха тот лектор, который не знает Библии. Мне кажется, что твердые убеждения становятся прочнее, если они сталкиваются с враждебной идеологией.

Наконец, третье отрицательное свойство Самиздата: романтизм «запретного плода» привлекает в Самиздат молодых людей с еще неустойчивыми убеждениями (это придет позже), но влекомых атмосферой. Это приводит к тому, что судьбы их разломаны, разбиты. Тут перед нами прошли такие люди: Мельник, Попов. Я глубоко переживаю судьбу моих молодых товарищей. Мельника я знаю мало, но его судьба мне не безразлична, ибо «никогда не спрашивай, по ком звонит колокол». Попов мне особенно близок — это мой ученик. Именно желая облегчить судьбу этих людей, я и написал в марте месяце свое заявление об отказе от Самиздата как метода. Прокурор пытался исказить смысл этого заявления, говоря, что я якобы осудил свою деятельность и назвал ее преступной. В том, что это ложь, легко убедиться по тексту самого заявления. Ничто в нем не должно рассматриваться как отказ от моих политических убеждений. Убеждения — не перчатка, их на ходу не меняют. Речь в заявлении шла о Самиздате только как о методе и ни о чем более. Я никогда не считал свою деятельность преступной. Прокурор пытался показать, что заявление мое было продиктовано страхом. Удивительно, как можно гордиться тем, что вы внушаете страх?! Вам бы стремиться, чтобы вас понимали, а вы хотите, чтобы вас боялись! Что ж, перед вами тут стоял раздавленный страхом Попов. Вы рады та-

кому союзнику? Но я могу вас заверить, что ни на следствии, ни здесь ни один мой шаг не был продиктован страхом. Страх — вообще чувство, недостойное человека. На страхе коммунизм не построишь. Конечно, я не самоубийца, и перспектива лагеря меня вовсе не радует. Но если человек обладает внутренней свободой, то потеря внешней свободы не так уж важна. Ибо свобода — это преодоленная необходимость. Мой уход из Самиздата — это лишь факт моей биографии. На мое место наверняка придут десятки других, привлеченных этим процессом, и, насколько я могу судить о просиходящем в этом зале, это уже началось.

Как ликвидировать Самиздат? Самиздат — это раковая опухоль в ненормально развивающемся организме. И ее не разрешить проблемой ножа — возникнут метастазы... Можно арестовать и посадить еще десятки математиков, физиков и астрономов и направить их производить материальные ценности. Но это не самый экономичный способ использования научно-технических кадров в период научно-технической революции. И неэффективный метод ликвидации Самиздата. До сих пор каждый такой процесс рождал цепную реакцию других процессов. Если в 1966 г. был только один такой процесс — Синявского и Даниэля, то сейчас их ежегодно насчитываются сотни.

Судья: Это информация, которой суд не располагает.

Ликвидировать Самиздат можно, только поняв, что это не прихоть нескольких злонамеренных лиц, а социальное явление, отвечающее назревшей потребности: «Если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно». То, что потребность в информации, не находящей места на страницах официальной печати, существует, доказывается тем, что издаются нумерованные книги типа «Сталинской России» Клиффа. Если бы все в них было клеветой, зачем было их издавать? Необходимо сделать так,

чтобы люди могли черпать информацию не со страниц Авторханова, распространяемого в Самиздате, или «Сталинистской России», распространяемой по списку, а открыто, со страниц прессы. Ленин говорил, что при социализме каждая кухарка должна уметь управлять государством, а это значит, что массы должны все знать, все понимать. «Свобода печати, — писал Ленин, — означает: все мнения *всех** граждан свободно можно оглашать».** Далее на I конгрессе Коминтерна в 1919 г. В. И. Ленин говорил: «Действительной свободой и равенством будет такой порядок... в котором не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа трудящихся любой численности) имел и осуществлял равное право на пользование общественными типографиями и общественной бумагой»***

Вот оно, единственное решение проблемы Самиздата — введение подлинной свободы печати. И нет другого пути. Не следует откладывать это на далекое будущее. Шекспир мудро сказал: «Время всегда на то, что происходит в нем».

Если есть мысль поистине антисоветская, то это мысль о том, что в столкновении двух идей, социалистической и антисоциалистической, социалистическая непременно потерпит поражение. Но это не моя мысль, а мысль прокурора, доведенная до ее логического конца. Конечно, она ложна. Свобода печати не приведет к ослаблению социализма. А критика будет, и бояться ее не надо. Пора понять, что патриот не тот, кто всегда кричит «ура» и голосует «за». Такой патриотизм часто скрывает за собой только любовь к собственным теплым местам. Сколько горя принес такой «патриотизм» нашей стране! Но есть и другой вид патриотизма, о котором писал еще Некрасов: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Такой патриот-

* Курсив В. И. Ленина.

** В. И. Ленин, Соч., 3-е изд., т. XXI, стр. 152.

*** В. И. Ленин, Соч., 3-е изд., т. XXIV, стр. 104.

тизм приносит тем, кто его разделяет, мало выгоды, но он заслуживает уважения, а не репрессий.

Перейду теперь к разделу обвинительного заключения об устной пропаганде. Он занимает не много места, но, в некотором смысле, является важнейшим, ибо здесь речь идет не о воззрениях авторов произведений Самиздата, которые я мог разделять или нет, а о моих собственных воззрениях. Я никогда не скрывал их. Я открыто высказывал свои политические убеждения в беседах и со своими друзьями, и со всеми своими знакомыми, которых насчитываются сотни. И никто из них никогда не считал мои воззрения враждебными моей стране. И это общее мнение укрепляет меня в моей правоте. Если против одного прокурора, который считает меня врагом своей страны, есть сотни людей, думающих иначе, можно еще жить!

Пункт об устной пропаганде возводит на меня обвинение в клевете. Клевета — это юридический термин. И следствие должно было бы доказать, что я не только лгал, но и лгал заведомо. Между тем, такой вопрос даже и не вставал на следствии — так оно было убеждено в моей полной уверенности в своей правоте. Например, вопрос о ЧССР, который не раз поднимался на следствии. Следователь не раз выражал сожаление, что не может опровергнуть мои аргументы ввиду своей неподготовленности к спору. И вот теперь это обращается в формальное обвинение в клевете. Термин «клевета», лишенный доказательности, перестает быть юридическим термином и превращается в простую брань по адресу обвиняемого. Я готов выслушать приговор, но не оскорбления. Я требую полностью исключить эту терминологию из приговора.

Другая особенность пункта об устной пропаганде такова. Я не юрист, и за разъяснением закона мне естественно обратиться к популярной юридической литературе. Для чего же и ведется правовое просвещение? И вот, обращаясь к книге «Особо опас-

ные государственные преступления» (М., 1963 г., коллектив авторов), читаем: «...преступления (по ст. 70) не будет в тех случаях, когда лицо выступает с критикой тех или иных мероприятий КПСС и Советского правительства или оценивает их как неправильные. Поэтому, например, несогласие лица с освоением целинных и залежных земель, критика внешней политики СССР, неодобрение помощи другим странам со стороны СССР и т. п. не может явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности».

А теперь посмотрим, какие же высказывания инкриминируются мне в обвинительном заключении? Разве не такие же, как те, о которых идет речь в цитате? Что ж, включите их в приговор. Но вынесите заодно и частное определение в адрес Госюриздата, который своими публикациями вводит советских граждан в заблуждение. Позиции прокурора, который отождествляет любую критику беззакония с антисоветизмом, многие порадуются. Последыши 37-го года рады будут укрыться под сень статьи 70 УК. Тут прокурор говорил о борьбе, которая идет во всем мире, о бомбах, которые падают во Вьетнаме. Да, опасность бомб есть, но есть и другая опасность, о которой нельзя забывать, — опасность возрождения сталинизма.

Судья прерывает замечанием, что это не относится к делу.

В числе моих якобы клеветнических высказываний в обвинительном заключении упоминается мое убеждение о том, что в СССР людей судят за убеждения. Если даже это не так, то пусть этот суд станет первым, когда человека осудят за убеждения. И не надо ссылаться на то, что судят не за убеждения, а за их распространение. Подтвердить такую позицию приговором — значит официально воспитывать в советских людях лицемерие: думай, что хочешь, но говори противоположное. А между тем,

еще Герцен говорил: «Громкая открытая речь одна только может удовлетворить человека». А его соратник Огарев ему вторил: «Только выговоренное убеждение свято».

В этом процессе есть одна деталь, придающая ему особую остроту: речь идет об одном из объектов моей устной пропаганды, о Владимирском. Суд выяснил, какие узы тесной дружбы (двадцать пять лет) связывают меня с этим человеком. Ближе человека у меня не было. И вот, наши беседы наедине, наши интимнейшие раздумья и споры вдруг стали предметом уголовного расследования. Странный прецедент! В качестве контраста мне хочется привести ту позицию, которую занимал великий вольнодумец Вольтер: «Ненавижу ваши идеи, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право их выразить». Если отбросить все юридические ухищрения и обнажить самую суть вопроса, то он окажется очень простым. Ответ на него важен не только для меня, но и для вас, граждане судьи, и для всех находящихся в этом зале, да и за его пределами: будет или нет накануне 50-летия СССР разговор наедине двух закадычных друзей признан уголовным преступлением, будет или нет?

Переходя к конкретной мере наказания, предлагаемой прокурором, — 5 лет строгого режима плюс 2 года ссылки, — хочу напомнить, что в дополнение к приговору, который вы мне вынесете, я получу тем самым и дополнительную меру наказания: 5 лет лишения прописки, т. е. всего 12 лет отрыва от семьи. А теперь сопоставьте это с тем, что в 1897 г. Ленин за создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был приговорен к трем годам — и не лагеря, а ссылки в Шушенское. Кто же опаснее: Ленин для царской власти или я для советской? Кроме того, согласно современным исследованиям, 3 года — это срок, за который научный работник полностью теряет свою квалификацию, если оказывается оторванным от активной работы и ре-

гулярного чтения литературы, то есть хватит и трех лет, чтобы навсегда вычеркнуть меня из научной деятельности. Или в ужесточении наказания прокурор видит прогресс социалистической гуманности?

Я очертил здесь перед вами тот комплекс проблем, который поднимает настоящий процесс, лишь называемый уголовным, а на самом деле являющийся политическим. Разумеется, суд не может решить всех этих проблем, но повлиять на их разрешение в его силах. Можно еще дальше развивать эскалацию репрессий, поддерживающих неестественную напряженность, а можно, поняв остроту проблем, содействовать смягчению этой напряженности. Поэтому я сейчас призываю суд лишь к одному: умеренности и сдержанности.

Благодарю.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЯКОВА ПАВЛОВА

8. 2. 1974

Суд над техником-проектировщиком Я. Павловым вместе с пятью другими христианами-баптистами состоялся в г. Талды-Курган Казахской ССР. По статье 130 УК КазССР (нарушение законов об отделении церкви от государства) Я. Павлов был приговорен к 5 годам лагерей усиленного режима. Кроме того, он был лишен родительских прав по отношению к своим восьмерым детям.

О суде над группой евангельских христиан-баптистов в Талды-Кургане см. «Посев» № 9/1974; «Хронику защиты прав в СССР», выпуск 8. — Р е д.

Граждане судьи, граждане заседатели!

Нас обвиняют по статье 130 ч. 2 в нарушении законодательства о культах. Что можно сказать в нашу защиту? Мы, верующие, все наши действия прежде всего рассматриваем с точки зрения верности Богу. Жизнь наша непосредственно подчинена Богу. Поймите, что верующие не могут идти на компромиссы с Богом. Верующий должен или верно служить Богу или быть отступником в своих глазах.

Здесь прежде всего идет речь о велении совести, пробужденной Богом. Человек искренне верующий не может иначе жить, как по совести, освященной Богом. Вот поэтому закон и говорит о свободе совести. И когда издавался декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», подписывающие его понимали, что значит свобода совести. Это не свобода старцев и калек, сидящих на печи и молящихся, когда их никто и не видит — для таких и закона не нужно, — а свобода верующих, молодых и старых, свободно совершать служение своему Богу, открыто сообщая учить детей и самим

учиться религии, не подвергаясь в то же время преследованиям со стороны власти. Такую свободу верующие в СССР имели до 1929 года.

А законодательство о культах прямо направлено на стеснение совести, на подавление чувств верующих. Мы не можем принять условий служения Богу, определяемых законодательством — оно противоречит учению Христа. А вы знаете, что первые христиане, чтобы остаться верными Богу, шли на любые мучения, на костры, на кресты, на арену римского Колизея, были растерзываемы зверями, перепиливаемы пилами, скитались, не имея места, где склонить голову, в холоде и голоде, в постоянных опасностях от предательства. И все это потому, что они имели настоящую веру, настоящие убеждения, неподкупную совесть. В это время Церковь не несла духовного урона и имела настоящую божественную чистоту. Урон она понесла после, когда стала как неверная жена по отношению к Богу. Вот тогда-то и появились ложные учения, разделившие христианство на различные толки, что мы и видим сегодня.

Мы не можем не учить детей. На это есть повеление Бога. Как же мы можем идти против Бога? Как же мы можем подавить голос совести перед нашими детьми? Разве может коммунист учить своих детей иному, чем учению о коммунизме? Не может. Не может и христианин, убежденный в учении Христа, не говорить о Христе своим детям. Мы не можем не собираться. Без этого нет Церкви. Мы не призываем к неповиновению власти, как нас обвиняют. Мы выполняем все, что требует закон от каждого гражданина СССР, если это не касается наших духовных убеждений. Собраний наши проходят открыто. Все желающие присутствовать у нас на собрании имеют такую возможность. Наши собрания нельзя назвать нелегальными, ибо власти знают нас, неоднократно присутствовали на собраниях, переписывали верующих. Мы не против ре-

гистрации. Но против несправедливых условий, навязываемых регистрацией. Мы готовы хоть сегодня зарегистрироваться, если условия регистрации будут основаны на учении Христа, с духовной стороны, и на декрете «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», с гражданской стороны. Это приемлемо для всех. Так регистрировались церкви до 1929 года, до появления законодательства о культах.

Нас обвиняют по статье 170 ч. 1 в изготовлении литературы и в распространении ложных слухов, порочащих общественный строй. У нас изъяли литературу, журналы, письма правительству, обращения к верующим, информационные листки, детскую литературу духовного направления. Не секрет, что в журналах и информационных изданиях есть сообщения о гонениях против верующих на местах, о непосильных штрафах (город Фрунзе), о насилиях со стороны милиции и дружинников (город Томск) и другие. Но разве можно нас обвинять в том, что мы получаем такие сведения? Во-первых, мы их не распространяем, не печатаем, а принимаем к сведению, чтоб и нам разделить скорби наших братьев. Во-вторых, это не заведомо ложные слухи, как нас обвиняют, а правда, горькая правда. И если бы власти были заинтересованы в установлении истины, то они могли бы получить более исчерпывающую информацию непосредственно по месту событий, о которых нам сообщают. Заметьте, что сообщения с мест пишутся не анонимно, а от соответствующих лиц и с соответствующими адресами. Разве кто-нибудь решится открыто писать ложь в ЦК, в Президиум Верховного совета, Генеральному прокурору? Нет. Разве можете вы нас обвинять, когда все верующие в СССР после этого суда узнают правду, за что вы нас обвиняли, сколько человек вы осудили и на какие сроки и сколько вы осиротили маленьких детей? А ведь об этом могут узнать и верующие всего мира. И разве это будут

ложные измышления? Конечно, нет. В этом случае уместно сказать: нельзя обижаться на зеркало, оно отобразит такое лицо, какое оно есть на самом деле.

Я вам со всей ответственностью заявляю: как только верующие перестанут быть гонимы, так сейчас же прекратятся подобные информации. Мы были бы рады свидетельствовать всему миру о той свободе, за которую мы боремся вот уже второе десятилетие, но до сих пор мы не можем дать такого свидетельства. И не мы в этом виновны. Мы в Талды-Кургане не печатаем никакой литературы. Следствие не дает никаких вещественных доказательств по данному обвинению. Нет средств распространения печати. Из-за недостатка духовных сборников нам приходится их переписывать. А разве это преступление? Правительство иногда дает разрешение печатать Библию и сборник для Союза Баптистов в ограниченном количестве. Но что значит двадцать тысяч сборников для такой страны, как наша? Вот и приходится для себя переписывать вручную. Подрастают дети и тоже начинают переписывать. А что же еще делать? Разве мы виновны, что история оставляет неизгладимый след от тех действий власти, которая по сей день не перестает нас преследовать, но изобретает все новые и новые формы репрессий?

Считается закономерным, когда произведения писателей и поэтов отражают истинное положение вещей. Там, где народ переживает скорбь, поются печальные песни. Там, где нет свободы, произведения призывают к борьбе. Там, где радость, счастье и свобода, — возносится благодарность Богу. А вы хотите, чтобы верующие замолчали, чтобы потомки наши не узнали, что мы переживали. Да если мы будем об этом молчать, мы пожнем только презрение от наших же детей как жалкие трусы.

Нас обвиняют за те сведения, которые мы имели от верующих всей страны. Но не предъявлено обвинения, какую ложь сказали мы? Чем непосредст-

венно мы опорочили общественный строй? И за все сообщения с мест верующие всегда готовы дать отчет. Так, на встрече с бывшим Председателем Президиума Верховного совета Микояном в 1965 году верующие предложили ему для ознакомления с фактами гонений 30 документов. А устно было сказано, что если потребуется, верующие готовы представить все документы, свидетельствующие о репрессиях в СССР, и стол Председателя Президиума Верховного совета не вместит их. Микоян признал, что подобные факты насилий безусловно являются незаконными и дал заверение, что этот вопрос будет рассмотрен в правительстве. Но, к сожалению, он вскоре ушел на пенсию и вопрос остался неразрешенным. А вы говорите о какой-то клевете, о ложных измышлениях.

Всем верующим известно об Обращении наших братьев Винса и Козлова к Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу и Руденко, в котором они описывают всю свою жизнь и готовы встретиться лично с целью уяснить факты, свидетельствующие о гонениях на верующих. А вы говорите — измышления. В 1966 году со всех мест страны были посланы делегаты в Москву с заявлениями от местных общин. 3 дня верующие, 500 человек, простояли у стен ЦК и не получили приема. А после были погружены на автобусы, по пятьдесят человек в каждый, и отправлены в тюрьму. Кто был оштрафован и отпущен, а кто получил срок. Разве это измышления? И вот тогда я вспомнил стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда», где он показывает, как были приняты ходоки в Петербурге. Разве не так получилось с нами? А вы говорите, что мы порочим действия правительства. А вот Ленин в период революции, когда у него не хватало времени на государственные дела, принимал ходоков. А наш депутат Верховного совета СССР не принял нас.

Нас обвиняют по статье 200⁻¹ часть 1, что мы в

беседе с учителями просили их оставить в покое наших детей, так как дети наши верят в Бога и не могут быть пионерами. Быть пионером или не быть им — добровольное дело. И никто не имеет права насильно заставлять человека вступить в ту или иную организацию без его желания. А о том, что наши дети не желали вступить в пионеры, учителя знали. Но тем не менее не оставляли в покое их. Не является ли это посягательством на права человека? В беседах с учителями я неоднократно ссылался на декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Пункт 9 гласит: «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом». Посмотрите! В этом историческом документе даже нет слова «запрещается», а вместо него есть слово «могут». Выходит, что религиозное воспитание недопустимо только в стенах учебных заведений, а частным образом граждане могут учиться и учить религии. Что же мы делаем? Учим своих детей в своих же домах, следовательно, частным образом. Почему же нас за это преследуют?

Оказывается, нас обвиняют в том, что мы не понимаем значения прав, обусловленных в декрете. Как известно, декрет был подписан в 1918 году и с того времени до 1929 года ни один верующий, занимающийся только вопросами веры и не распространением, не был подвергнут репрессии. Но с 1929 года начал действовать новый закон «Законодательство о культах», который был рожден периодом культа личности Сталина и был направлен на попрание прав человека и который, как ныне образно выражается пресса, является антидемократическим законом. Законодательство о культах уже само по себе является незаконным актом, так как декрет гласит: «На территории республики запрещается

издавать другие законы или постановления, которые стесняли бы или ограничивали совесть верующих». Как известно, тогда, когда подписывался декрет, на территории России была только одна республика и посему выражение «на территории республики» не относится к какой-либо отдельной союзной республике, а является обязательным на всей территории СССР. Однако, невзирая на запрет декрета, законодательство получило силу. Это понятно, если мы рассматриваем вопрос на уровне 30-х — 40-х годов.

Тысячи верующих и неверующих были репрессированы по обвинению в самых тяжких преступлениях против государства. Но то время прошло. Народ и партия осудили период культа личности. Тысячи оставшихся в живых вышли на свободу, в том числе и верующие, получили реабилитацию, получили пенсию по старости. В 1957 году было Постановление ЦК КПСС «Об ошибках в атеистической пропаганде», в котором осуждались методы и взгляды атеистов в борьбе с религиозными убеждениями, которые по сути дела сводились к борьбе против верующих. И так мы с вами являемся свидетелями, как на территории СССР действуют два законодательства о верующих. Один закон направлен, чтобы оградить права человека, дать ему гарантии безопасности, а другой закон направлен, чтобы ограничить их законные права, сделать их в глазах общества преступниками.

Вопрос о праве верующих избирать любую религию и распространять ее был освещен В. И. Лениным еще до Октябрьской революции. В своем обращении к деревенской бедноте Ленин писал: «Только в России да в Турции... остались еще позорные законы против людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запрещают ее, либо лишают людей известной веры некоторых прав. Все эти законы — самые несправедливые, самые насильственные, са-

мые позорные. Каждый должен иметь свободу не только держаться какой угодно веры, но и распространять ее и менять... Вот за что борются социал-демократы, и пока эти меры не будут проведены без всяких оговорок и без всяких лазеек, до тех пор народ не освободится от позорных полицейских преследований за веру...»

Трудно более точно, более красочно охарактеризовать преследование за веру и ее распространение, чем В. И. Ленин. Вот поэтому-то он лично сам участвовал в редактировании текста декрета. Вот поэтому в декрете и оговорено, что другие законы, стесняющие или ограничивающие совесть, издавать запрещается. Что такое обучение детей религии? Это распространение религии, о праве на которую говорит В. И. Ленин. Вот поэтому-то в декрете, пункт 9 и говорится: «Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом». Вы видите, что все документы и высказывания Ленина по отношению к верующим направлены на защиту их прав. А что мы видим ныне? По всей стране проходят суды. Верующих обвиняют в посягательстве на права человека под видом религии, тогда как они имеют полное право учить своих детей религии. Эти суды являются свидетельством попрания прав человека. Разве это предвидел В. И. Ленин? Почему же сегодня нас судят, как раньше судили наших дедов? Только потому, что наши права, права человека самым грубейшим образом попираются и донныне, невзирая на все гуманные законодательные акты, как внутри страны, так и международные.

В 1948 году была подписана Декларация прав человека, в которой с особой силой подчеркивается неоспоримое преимущественное право родителей в деле воспитания. Приоритет в выборе образования для своих малолетних детей принадлежит родителям и законным опекунам. Обращаю ваше внимание на то, что не партии, не профсоюзу, не обществу принадлежит право в выборе образования для мало-

летних детей, а нам, родителям. В 1960 году была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. В 1962 году Конвенция была ратифицирована в СССР («Ведомости Верховного Совета СССР», № 44 (1131), ст. 452). Она гласит: «Родители и законные опекуны имеют право воспитывать детей в духе собственных убеждений».

Кажется, уже столько документов существует, защищающих права родителей-верующих, что не должно быть и речи о каких-либо преследованиях. Однако позорные акты преследований продолжают-ся. И мы с полным основанием во весь голос можем заявить: не мы посягаем на права человека, а вы посягаете на наши права родителей-верующих. На языке всех юристов мира можно сказать только одно: когда есть подобные законы и их не соблюдают власти, это — произвол, это — насилие, это — позор нашего времени. И скажу, не секрет, что общественность мира удивлена и встревожена подобными актами. В адрес правительства пишутся протесты и просьбы покончить с репрессиями против верующих. Неужели вас не волнует, что те негры в Америке и Африке, которые борются за свои права, скоро обличат вас в тяжком преступлении против человека, в попрании прав человека.

Уже в то время, когда мы были в тюрьме, в Москве проходил Конгресс миролюбивых сил за безопасность и разоружение, на котором в частности был поднят вопрос и о веротерпимости. Итак, все формы дискриминации по признаку религии Конгресс осудил. Нам не прямо запрещают верить в Бога. Но избирают такие формы, чтобы делу дать законный вид и толк. И получается, как в басне «Волк и ягненок»: «У сильного всегда бессильный виноват».

Кому не известно, что служит истинной причиной преследования верующих? Причина эта — живая вера в живого Бога. Но так как все-таки стыдно говорить, что верующих преследуют потому, что

они являются свидетелями о Боге, против нас фабрикуют такие обвинения, которые по духу убеждения мы даже не можем делать. Мы не можем распространять ложные измышления, потому что ложь — грех. А если мы о чем-то говорим, то говорим о вещах, которые видят все люди. Мы не можем насильно навязывать веру никому, даже детям, мы только свидетельствуем о Боге. А выбирать путь им придется самим, когда они придут в возраст. Вы прекрасно знаете, что если дети наши будут верующие, они не будут судимы за воровство, за насилие, за бродячий образ жизни. Вы знаете, что практического вреда нет от того, что человек верит в Бога. Однако вас волнует, что подрастающее поколение будет тоже верить в Бога. Вот истинная причина, за что вы нас судите.

Что ж, судите нас. Только знайте, что вы судите незаконно, обвиняете несправедливо. Знайте и то, что история христианства продолжает писаться, и в этой истории со всей справедливостью и достоверностью будет открыт и настоящий период. Подумайте, не будут ли потомки судить вас, как вы сегодня судите инквизиторов?

ИНДЕКС ИМЕН

- Абрамов 44, 45, 48, 53, 54
Авторханов А. А. 152, 155
Амальрик А. А. 108-109
Андропов Ю. 71
Аржак Николай см. Даниэль Ю. М.
Ахматова Анна 11, 124, 145, 151
- Бабель 15, 145
Бабицкий Конст. 73, 76, 89-90, 92
Багатурьянц Д. 101
Баласагунский Ю. 99
Бедный Демьян 12
Безобразов 52
Бергельсон Давид 124
Блюхер 16
Богораз (Брухман, Даниэль) Лариса И. 24, 73-77, 80, 92, 96, 122
Борисова 66
Брежнев Л. 126, 164
Брухман Лариса см. Богораз Лариса
Буковский Вл. Конст. 44, 46, 47, 51-60, 83, 137-142
Булгаков Мих. 124
Бурмистрович Илья 101-102
- Ванькович прок. 137
Басильев общ. обвинит. 8, 15, 21, 23
Ветвинский 38
Вильямс 63
- Винс 164
Владимирский 144
Вольпин (Есенин-Вольпин) А. С. 45, 141, 144
Вольтер 158
- Габай Илья 103-104
Галансков Юрий Тим. 44, 46, 50, 56, 66-68, 72, 92
Галич Александр Арк. 123
Гальский 39
Гамарник 16
Гейне Генрих 150
Гендлер 93
Герцен 158
Гинзбург Александр И. 66, 68, 69-72, 92, 93
Гинзбург Евгения 64
Голомшток 24
Горбаневская Наталья Евг. 73
Горбузенко 17
Горинь (Горынь) 42
Гренфелл Рассел 145
Грибачев 103
Григоренко Зинаида М. 141
Григоренко Петр Гр. 93, 96, 98
Грузинов 53
Губанов 72
- Даниэль Лариса см. Богораз Лариса
Даниэль Юлий Марк. (псев. Ник. Аржак) 5-8,

- 10, 14-25, 45, 68, 69-72, 101-102, 154
Делоне Вадим 44-50, 54, 73, 76, 82-85, 92
Джамбул 63
Джемилев Мустафа 26, 103, 105
Джилас Милован 150
Дзюба Иван 115
Добровольский Алексей 46, 50, 56, 66, 68, 83
Дремлюга Вл. 73, 86-88, 92, 98
Дубчек Александр 97
- Евтушенко Евг. 40
Емелькина Над. 136
Ентин 66
- Замойская Елена 8
Здебскис Юозас 125-135
Зоценко Мих. 11, 12
- Ильф 12
Иокубка 126, 127, 130
- Каверин 47, 56
Каганович Лаз. М. 63
Какитис Э. 97
Каллистратова С. 75
Каминская Д. И. 75, 139-140
Караванский 37
Катаев Иван 15
Каутский 91
Квачевский Лев 91-94
Квитко 15
Кедрина 9, 11, 16-19, 21
Кирилов Г. М. 97
Кирхенштейн Ник. 95
- Кисешинский 21
Кисин 32
Клейменов 53
Клименко 39, 41
Клифф Том 145, 154
Козлов 164
Кольцов 15
Кононенко 103
Коржавин Наум 123
Косиор 16
Костерин Алексей Евгр. 93
Косыгин А. 69
Кочетов 145
Крикливец 41
Куварзин 119
Кунов 91
Кушев Евгений 44, 70
- Ларионов 119
Лашкова Вера И. 56, 66, 68
Левидов 16
Левитин Анат. Эмман. (А. Краснов) 110
Ленин (Ульянов) В. 35, 40, 42, 43, 91, 92, 96, 121, 152, 155, 158, 164, 166, 167
Леонтович акад. 47, 56
Литвинов Павел Мих. 66, 73, 78-81, 83, 89, 92, 96, 97
Лысенко Троф. 63
Любарский Кронид 143-159
- Маленков 63
Мандельштам Осип 9, 15, 151
Маркиш 15

- Маркс К. 150
 Марченко Анат. Тих. 98
 Матвеев 48
 Маховицкий Ф. В. 31-33
 Маяковский Вл. 12
 Медведев Жорес 151
 Медведев Рой 151
 Мейерхольд Бсев. 16
 Мельник 145, 153
 Микоян Анастас И. 164
 Миллер Карл 11
 Милош Чеслав 11
 Миронов 72, 93
 Михайлов 48
 Мичурин 63
 Молотов (Скрябин) Вяч. 63
 Мороз Валентин 37, 111-116

 Назарук 42
 Недобора Владислав 106-107
 Нестор Л. П. 91
 Никитинский 141
 Никитченко 37
 Норман 70
 Нусинов 16

 Огарев 158
 Орлов А. И. 97
 Осадчий 38, 41

 Павлов Яков 160-169
 Пакалниетис 97
 Палатник Рейза 117-124, 145
 Пастернак Бор. Леон. 9
 Петров 12

 Пешонова 121
 Пильняк Борис 145, 151
 Платонов 124
 Плеханов 91
 Подлипная 123
 Померанц Гр. 151
 Пономарев В. 106
 Попов 143, 144, 153
 Постышев 16

 Радзиевский 56
 Рассел Бертран 97
 Рахманов 132
 Ромм 47
 Ронкин Валерий 92
 Ругенис 126, 130
 Руденко Р. 164
 Рюриков 23

 Саблин 30
 Садо Мих. Юханович 61-65
 Садовский 34, 37, 42
 Саслюк 120
 Сахаров Андрей Дим. 92, 99
 Себрехтс Гуго 141
 Сергадеев 39
 Сергеев 101
 Синявский Андрей Донат. (псевд. Абрам Терц) 5-13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 45, 68, 69-72, 101-102, 154
 Сладкявичус 131
 Смелов 55
 Солженицын Александр И. 11, 64, 98
 Сталин (Джугашвили) И 35, 40, 45, 63, 64, 83, 113, 145, 150, 152, 165

- Стальский Сулейман 63
 Суслов м. 96, 97
- Твардовский А. Т. 175
 Терц Абрам см. Синявский А. Д.
 Тимирязев 62-63
 Тольятти Пальмиро 40
 Третьяков 15
 Трофимов 138
 Турундаевская С. 101
 Тухачевский 16
- Убожко Л. 108
 Уэллс Герберт 145
- Файнберг А. А. 141
 Фейто Франсуа 145
 Филиппов Борис 11, 20
 Фильд 11
 Франс Анатоль 86
- Хаустов 44, 45, 48, 83
 Хорев М. И. 27-30
 Хрущев Н. 64, 65, 86
- Цветаева Марина 9, 151
 Цвигун С. 137
 Церкуненко 93
- Чаковский 93
 Чалидзе В. 141, 151
 Черновол Вячеслав 34-43
- Швейский 140
 Шевцов 145
 Шелест П. Е. 35, 36, 37
 Шешкявичус 126
 Шиханович Ю. 144
- Эвенштейн 35
 Энгельс Ф. 91
- Юдин П. Ф. 20
- Якир Иона 16
 Якир Петр 98
 Ясенский Бруно 15
 Яхимович Иван 95-100
 Яхимович Игнат 95
 Яхимович Иосиф 96
 Яхимович Казимир 95

СОДЕРЖАНИЕ

Последние слова и защитительные речи обвиняемых

Андрей Синявский	5
Юлий Даниэль	14
Мустафа Джемилев	26
М. И. Хорев	27
Ф. В. Маховицкий	31
Вячеслав Черновол	34
Вадим Делоне	44
Владимир Буковский	51
Михаил Садо	61
Юрий Галансков	66
Александр Гинзбург	69
Лариса Богораз	73
Павел Литвинов	78
Вадим Делоне	82
Владимир Дремлюга	86
Константин Бабицкий	89
Лев Квачевский	91
Иван Яхимович	95
Илья Бурмистрович	101
Илья Габай	103
Мустафа Джемилев	105
Владислав Недобора	106
Андрей Амальрик	108
А. Э. Краснов-Левитин	110
Рейза Палатник	117
Юозас Здебскис	125
Надежда Емелькина	136
Владимир Буковский	137
Кронид Любарский	143
Яков Павлов	160
Индекс имен	170